

Man

ПОТАЁННЫЕ СМЫСЛЫ



M

Алексей МАКУШИНСКИЙ

📍 Висбаден, Германия



Фото: Елена Волленвебер

Поэт, прозаик, историк литературы, доцент кафедры славистики университета Майнца.

Автор романов «Макс», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», «Остановленный мир», «Один человек», книг стихов «Свет за деревьями», «Море, сегодня», книги эссе «У пирамиды», книги «Предместья мысли».

Лауреат премии «Глобус» журнала «Знамя» и Библиотеки иностранной литературы. Шорт-лист премии им. А. Пятигорского. Дважды финалист премии «Большая книга». Первый приз «Русской премии» (2015).

В 4-м номере «Тайных троп» были опубликованы «фрагменты фрагментов» из моей ещё недописанной книги «Буква М». Повторю частично самый первый фрагмент, объясняющий всю затею:

Давным-давно я заметил, как много важных слов моей жизни начинается на букву М: море, мост, мир, миг, маска и музыка, – и сколько имён, сколько названий: Макс, Марк, Москва, Мюнхен, Марсель. Я начал составлять список этих слов; потом, в течение нескольких лет, к каждому из них понемногу подключались – сами собою – разные мысли (тоже на М); иногда по несколько мыслей к одному слову (на М). Разумеется, есть и другие восхитительные буквы в алфавите; но ведь, говорят, мастерство (на М, опять-таки) – это самоограничение, мудрость (на М) – тоже самоограничение. Ни на то, ни на другое не претендую, но буквой М пока ограничусь – а там будет видно.

Буква М

Новые фрагменты из книги фрагментов

Продолжение. Начало в № 4

Метафоры

Хайку не метафорично, не символично. Старый пруд, лягушка, звук воды. Это вовсе не символизирует тишину, пустоту, небытие, ничто и так далее. Но это создаёт тишину, пустоту; позволяет тишину услышать, пустоту увидеть, небытие почувствовать, ничто ощутить.

Моллюски

В отличие от моллюсков, способных открываться и закрываться, люди, как правило – но есть блистательные исключения, – схлопываются. Наблюдать за этим всегда очень горько. Раковина Святого Иакова, *coquille Saint-Jacque* (бороздчатую форму коей воспроизводят, как все мы помним, прустовские «мадленки») – эта раковина может раскрыться, потом захлопнуться, потом снова раскрыться, – и в человеческой жизни тоже бывают, конечно, – как вдох и выдох, систола и диастола – эпохи большей или меньшей открытости миру, чужим влияниям и веяниям, новым книгам, другим мыслям – другим системам мысли, другим тональностям мысли, – но всё же общее направление – за немногими, повторюсь, блистательными исключениями – однозначно и безнадежно, как улица со знаком *sens unique*, *senso unico*, *Einbahnstraße*. Человек – как правило – раскрывается в молодости, чтобы потом начать закрываться и закрываться, в конце концов – захлопнуться навсегда. И вот встречаешь кого-нибудь, кого знавал тридцать лет тому назад, – и только диву даёшься, не тому, как он постарел или она подурнела – это-то вовсе не удивительно, – а тому, до какой степени он сделался неспособен к простому обмену мнений, она – равнодушной ко всему, выходящему за узкий горизонт её убогого существования.

Тридцать лет тому назад эти люди с тобой разговаривали, тебя слушали, ты им был интересен. Ты стал с тех пор стократ интереснее, но ты им был тогда интересен, потому что им тогда был мир интересен. С тех пор они разучились думать и говорить о чём бы то ни было, кроме того, о чём они сами думают, потому-то и говорят. Они думают, как правило, о политике; у них так много мыслей о политике накопилось в голове за прошедшие тридцать лет; они спешат их все высказать поскорее, ими всеми тебя осчастливить. А ты несчастен; тебе надоело, в конце концов, быть скромным слушателем чужих монологов. Ты мог бы ответить на их монологи своим монологом; но – зачем? Твой монолог им не нужен, да и тебе он не нужен. Ты хочешь быть услышанным; тебе лень, да и обидно, говорить в пустоту, говорить с пустотой. Ты тоже схлопываешься, подобьем моллюска.

Моллюски, прочитал я в благословенной Википедии, всегда приходящей на помощь моему невежеству, бывают головоногие, брюхоногие и двустворчатые (наши любимые: устрицы, мидии, прочие гребешки). У первых (как нетрудно догадаться) нога (причём одна-единственная, как и у всех прочих моллюсков) приделана к голове, у вторых – к брюху, у третьих, по крайней мере у большинства из них, ни головы, ни брюха вообще нет в наличии (если я правильно понял), есть только тело и нога, пролезающая в зазор между створками, когда они раскрываются, так что несчастная тварь может хотя бы ползать (тихо-тихо, медленно-медленно) по дну мировых морей. Есть, впрочем, подвид моллюсков, умеющих даже плавать, хлопая створками. Чтобы какое-то движение происходило, створки, во всяком случае, должны раскрываться; будь я моралистом старой школы, усмотрел бы здесь аллегорию.

Но я не моралист ни старой школы, ни новой, скорее уж я гурман, брюхастый и головастый, так что, заканчивая сей фрагмент, не могу не вспомнить тех чудных мидий (*les moules*: *мулей*, как писывали ранние русские эмигранты), которых на юге благословенной Франции готовят в огромных чанах, прямо на набережной, под шум прибоя и крики прожорливых чаек, местные же гедонисты, искатели гастрономических утех выстраиваются за ними в очередь со своими, принесёнными из дому или выданными в ближайшем ресторане, тазиками в нетерпеливых руках. Съешь такой тазик, с картошкой фри и белым вином, – и если не мысль (гурманство ей не способствует), то уж, во всяком случае, душа твоя раскрывается, прямо распаивается для новых, радостных впечатлений бессмысленного бытия.

Мигрень, Мюнхен

Когда в Мюнхене дует *фён*, тёплый ветер с Альп, тогда эти Альпы и проступают на прояснившемся горизонте снежной ломаной линией, зримой хотя и не отовсюду, но с любого пригорка, из Олимпийского парка; небо очищается; взгляд замутняется от мигрени; мир предстаёт замутнённому взгляду в какой-то тревожной, почти мучительной первозданности; кажется, что и вода в Изаре ярче блещет, буйнее журчит, что и окна домов, стёкла машин так сияют, как им сиять бы не должно, сиять бы не следовало: ещё немного и, гляди – треснут, гляди – посыплются водопадом сверкающих на солнце осколков. Что-то, в общем, неправильное происходит при этом ветре; в людских головах

уж тем более. Мюнхенская мигрень прихотлива. У родившихся в этом прекрасном городе – самом негерманском и потому самом прекрасном городе в Германии, да простят меня Швейнфурт с Динкельсбюлем, – она, кажется, бывает раз в неделю (у кого по вторникам, у кого по субботам); что до приезжих, то у некоторых она начинается сразу, вновь и вновь испытывает их терпение, их смиренность, потом вдруг (по местному, никем не доказанному, но и никем не опровергнутому поверью, «через семь лет»), проходит, причём проходит уже навсегда, независимо от их возраста и прочих болезней; у других же, наоборот, не начинается долго, так что эти *другие* надменно поглядывают на первых, пытаюсь сочувствовать, но в глубине души считая их рассказы о сверлящей боли над левым виском преувеличением и капризом (подумаешь, голова болит). Они, значит, думают, эти скептические *другие*, что первые, прикладывая ладонь ко лбу, глядя на них отуманенными страданием глазами, просто жаждут жалости, пытаются их обмануть, а это сама мигрень их обманывает, тоже вдруг (и тоже «через семь лет») обрушиваясь на них всей своей мощью, всеми мученьями, что есть у нее в запасе. Буравчики ввинчиваются им в мозг, отбойные молоточки грохочут у них в голове, язвительные лезвия солнца вонзаются им прямо в сердце. Тут-то начинают они понимать, если раньше не поняли, что всё не так просто устроено на этом небелом свете, что есть силы, с которыми нам не совладать и не справиться, которые за нас решают, нас не спрашивают, делают, что хотят.

Мюнхенский климат, иными словами, располагает к резиньяции, значит, и к рефлексии, к меланхолии, значит, и к медитации. Не потому ли Пруссия, а не Бавария объединила в своё время раздробленные германские королевства и княжества, не потому ли выскочки Гогенцоллерны одолели благородно-безумных Виттельсбахов, одну из древнейших династий Европы? Ведь берлинский климат совсем не таков. Там ветер дует с моря, там снег несётся с польской равнины, там живительный холод побуждает к действию, поступку, победе. У прусских юнкеров голова не болела, вот они и выиграла. Таково, по крайней мере, моё личное объяснение хода германской истории, и я не вижу, чем оно хуже всех прочих.

Меланхолия и депрессия

Подпольный человек, если помните, был «крепко убеждён, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь». Вот уж если я с чем не согласен, так именно с этим. Подпольный человек – мой закадычный, конечно, *amicus*, но *veritas* – подруга ещё закадычнее. Сознание – болезнь? Опыт всей моей жизни свидетельствует об обратном. Отсутствие сознания – вот действительная болезнь, главная, неизлечимая болезнь человеческого существования. «Сознавать что-либо всегда хорошо», просто, но очень точно замечает в своём «Курсиве» Нина Берберова. Сознать что-либо всегда хорошо, сознавать себя сознающим вообще прекрасно. Что не отменяет, разумеется, меланхолии, без которой сознание, тем более – мышление (впрочем – в чём разница?) редко обходится. Связь меланхолии и мышления таинственна, давно отмечена многими достойными авторами (начиная с Аристотеля, если я правильно понимаю). Есть замечательная (переведённая ли на русский?) книга Джорджа Стейнера под завлекательным заглавием «*Dix raisons (possibles) à la tristesse de pensée*», «Десять (возможных) причин, почему мысль печальна» (перевожу так, чтобы избежать трёх ро-

дительных падежей подряд); в немецком переводе: «*Warum Denken traurig macht*» («Почему мышление делает печальным»). Наверное, я ещё не раз её буду цитировать. Мысль, может быть, и повергает мыслящего в печаль (и тому есть множество – по Стейнеру, по крайней мере, десять – причин), но и печаль усиливает мысль, обостряет её, может быть – создаёт саму возможность её. Мысль, следовательно: есмь, следовательно: печален. *Cogito ergo sum ergo sum tristis*. Шеллинг (в сочинении о свободе: своём, может быть, самом глубоком и самом загадочном) говорил о печали, «налипающей» на всякую конечную жизнь (*die allem endlichen Leben anklebende Traurigkeit*), о глубокой неразрушимой меланхолии всякой жизни (*die tiefe unzerstörliche Melancholie alles Lebens*); Стейнер его и цитирует (я тоже цитирую в «Одном человеке»). Печаль обостряет мысль, меланхолия усиливает сознание; наоборот: депрессия его ослабляет. И в этом всё дело, вся разница. *Depression is melancholy minus its charms*, писала Сюзан Сонтаг; депрессия – это меланхолия, лишённая её очарования. Очарование меланхолии и заключается, я полагаю, в усилении мысли, обострении сознания («сознавать что-либо всегда хорошо»). В печали я – у себя, *bei sich*. В депрессии я от себя отчуждён. В депрессии есть обида. Вот как мне плохо, смотрите все. Депрессия всегда, хоть чуточку, для других. Меланхолия обращает меня ко мне самому. Депрессия создаёт внутренних собеседников, внутреннюю публику, которой мы бросаем слова нашей обиды, нашего раздражения, нашего отвращения от жизни, нашей ненависти, нашей злости; меланхолия избавляет нас от них; закрывает, пусть ненадолго, наш внутренний тайный театр. Театр закрыт, все ушли. И ты выходишь на улицу; видишь ночное небо; видишь звёзды в прорезях мерцающих облаков. Наконец, ты один; боже, вот счастье.

Меланхолия и депрессия, снова

Депрессия возвращает если не в детство, то в отрочество, в тинейджерство, самую трудную и, в известном смысле, самую бездарную пору человеческой жизни. Меланхолия взрослит. Меланхолия вынуждает тебя – или позволяет тебе – смотреть на свою жизнь глазами взрослого безутешного человека. А нет ничего утешительней безутешности, ничего правдивей, и потому правильной, осознанного отчаяния.

Магнитное поле

Россия – наше солнце, вот что я вам скажу. На солнце жить нельзя, скажу я вам также. Россия выбрасывает в мир протуберанцы замечательных идей, замечательных людей с их книгами, нотами и картинами, их спектаклями, фильмами, их формулами, изобретениями, уравнениями. Также она выбрасывает в мир ужасных людей, чудовищные идеи, наполняет его своими агентами, своими ракетами, идёт на него войной, разрушает окружные страны. Чем ужасней она себя ведёт, тем больше великодушных людей и прекрасных идей вылетают из неё в мир. У оставшихся шансов немного. Ощетинившиеся драконы ещё могут как-то в ней выжить, хоть другие драконы при случае пожирают их, но создателям стихов и симфоний, химических формул и математических уравнений почти никогда не дано перейти живыми и целыми это бесконечное магнитное поле, со всеми его вспышками, бурями, прочими причудами плазмы.

Мерзость власти

За что я благодарен судьбе, так это за то, что у меня никогда ни над кем не было никакой власти. Власть сама по себе – омерзительна, независимо от всех побочных обстоятельств. Да, как руки брадобрея. Как ноги мужиков в общественной бане (волосатые, заскорузлые). Как мошонки мужиков в душевой при бассейне. Всякий раз, когда мне случайно доставалась крупница власти, намёк на власть над кем бы то ни было, я себя чувствовал измаранным, изгваздавшимся, осквернившим лучшее, что во мне есть. Но даже тех крупниц власти, которые перепадали мне в течение моей уже довольно долгой жизни, достаточно, чтобы оценить степень её соблазнительности. Нет, наверное, более сильного, более страшного соблазна на свете; всё прочее рядом с ним ступеньвается и меркнет. Потому от власти надо бежать, по моему глубочайшему убеждению: и от чужой власти, и от возможности собственной, даже и от намёка на такую возможность. Власть – смерть, безвластие – жизнь. Пусть мёртвые своих мертвецов и хоронят.

Место, время etc.

Историческое событие определяется множеством факторов, обстоятельств, случайностей, личностей... безличностей, наконец. Выделю, по крайней мере, четыре.

Есть фактор места. Любое событие в России будет происходить точно не так, как во Франции, совсем не так, как в Китае, даже не так, как в Украине.

Есть фактор времени. События в XX веке происходят иначе, чем в XIX, в XXI – совсем иначе, чем в XVIII. Иные нравы, иные идеи, иные технические возможности, иные средства связи. Железные дороги и телеграф преобразили как время, так и пространство; ядерная бомба сделала землю хрупкой, маленькой, гиблой; интернет создал вселенную, возможности которой никто, наверное, просчитать не способен. Эти два фактора понять проще всего.

С третьим уже труднее. На советском жаргоне он назывался «человеческим фактором». Если бы Ленин в своём проклятом plombированном вагоне не доехал из Швейцарии в Россию, мы жили бы в совсем другом мире. Вот он ехал, ехал... вдруг бац – поезд сошёл с рельсов, и всё – нет Ильича, нет Октября. С самого детства я пытаюсь вообразить себе это – невообразимое счастье. А если бы Гитлера всё-таки приняли в венскую Академию художеств? Если бы Сталин подох в Туруханске? Разумеется, не только эти – иногда значительные, иногда ничтожные личности, вознесённые на вершины, пики и скалы власти, определяют ход истории, но, пусть в малой мере, – все, кто участвуют в ней, вся эта «совокупность волей» миллионов людей, о которой говорит Толстой в мало кем читанном (потому что и вправду скучнейшем, ненужнейшем) эпилоге к «Войне и миру». Поэтому так трудно – невозможно – предсказать что бы то ни было. Пусть эти миллионы маленьких волей – лишь «пшеница человеческая», каждый колос которой клонится вместе с другими под ветром – или вихрем – событий. Они всё же клонятся то в одну сторону, то в другую, в зависимости от направления ветра, а ветер переменчив, капризен, то он зюйд-вест, то он норд-ост, то он мистраль, то он сирокко; да и сам этот образ пшеницы, конечно, только образ; миллионы волей направлены не совсем одинаково, и под зюйд-вестом,

и под норд-остом клонятся чуть-чуть да по-разному; при всех сходствах между ними, всей дюжинности и заурядности человеческой, всех массовых поветриях, имеющих страшное свойство охватывать их и сгибать, вывести среднее арифметическое этих миллионов разнонаправленных воль никто ещё не сумел.

Наконец, есть четвёртый фактор, для меня наиболее интересный. Я его называю логикой самого события. Есть логика войны, логика революции, логика реформ. Логика «маленькой победоносной войны», почти всегда ведущей к большой катастрофе. Логика больших реформ, приводящая, в лучшем случае, к «теории малых дел». Логика революции наглядней всего. Вот весна революции; всеобщие объятия и восторги; «великая и бескровная»; Генеральные штаты, жирондисты, Временное правительство, самая свободная страна Европы, Филипп Эгалите, красные банты на лацканах и штыхах. Затем, сразу: якобинцы, большевики, Ленин и Робеспьер, гильотина, террор, подвалы ЧК, Вандея, Дон, Лионское восстание, Кронштадтский мятеж. Затем и это заканчивается: Директория, НЭП. Не важно, что русскую Директорию (НЭП) устанавливает сам Робеспьер (Ленин); важно, что она наступает, какое-то время длится... чтобы тоже рухнуть, сдавшись на милость или продав себе с потрохами маленькому симпатичному генералу-корсиканцу или маленькому, очень несимпатичному террористу-грузину. Современники в Сталине не признали Наполеона. Они думали, что Наполеон непременно должен быть военным, быть Тухачевским, вообще являться в блеске и славе (в блеске погон и славе побед); не понимали, бедняги, что в России военные – никто, «служилые люди». Тут вступает в дело логика места. Русский Наполеон не может походить на Наполеона французского, зато ещё как может сходствовать с Иваном Грозным. Однако в логике события его роль – до поры до времени – наполеоновская, да и в нём самом есть кое-что наполеоновское, как это ни обидно для Бонапарта (тоже, впрочем, порядочного чудовища). Как и Наполеон, Сталин был одновременно продолжателем и предателем революции, её гением и её же гробовщиком; как и великий корсиканец, Сталин вновь сомкнул её – пускай по видимости – с *ancien régime*, старым режимом; восстановил – не все, конечно, – знаки, формы и атрибуты этого *ancien régime*, уже вроде бы безвозвратно погибшего (те же погоны, военные чины, заодно «мораль», брак, заодно уж, отчасти, и церковь). Играл, в общем, в монарха, как и *Napoléon le Grand, Empereur des Français*... Императором себя не провозглашал, но империю всё же создал; на наших глазах она рухнула; теперь, и тоже на наших глазах, мутных от слёз, пытается восстановиться, в кровавых судорогах, на позор и посмешище всему миру.

Есть и более глубинные сходства. Сталин, как и Наполеон, приходит с окраины, является ниоткуда; он не свой ни в погубленном революцией старом мире, ни даже в самой революции. Ему ещё нужно оттеснить, или уничтожить, новых хозяев жизни, чтобы самому стать хозяином (со строчной буквы, если кому больше нравится), мановением руки, щелчком пальцев создающим (или разрушающим) королевства, компартии, коминтерны и коминформы (как не вспомнить тут бессмертную страницу из Гейне, описывающую, глазами ребёнка, торжественный, или не такой уж торжественный, въезд императора в его, то есть Гейне, родной Дюссельдорф:

Улыбка, согревавшая и смирявшая все сердца, скользила по его губам, но каждый знал, что стоит свистнуть этим губам — *et la Prusse n'existait plus*, стоит свистнуть этим губам — и поповская братия зазвонит себе отходную, стоит свистнуть этим губам — и запляшет вся Священная Римская империя. И эти губы улыбались, улыбались также и глаза. То были глаза ясные, как небо, они умели читать в сердцах людей, они одним взглядом охватывали все явления нашего мира сразу, меж тем как мы познаём эти явления лишь последовательно, да и то не их, а их окрашенные тени. Лоб не был так ясен, за ним таились призраки грядущих битв. Временами что-то озаряло этот лоб: то были творческие мысли, великие мысли-скороходы, которыми дух императора незримо обходил мир, — и мне кажется, что любая из этих мыслей дала бы какому-нибудь немецкому писателю достаточно пищи для писания до конца его дней;

простите, не мог удержаться от цитаты). Тогда-то, победив всех противников, оттеснив всех соперников, он, корсиканец, становится символом Франции, он, сын грузинки и осетина-сапожника, — великодержавным русским шовинистом.

Да, Наполеон — прекрасен, ужасен; Сталин — прежде всего отвратителен. Но сходства есть и никуда от них не уйти. И уж конечно, библейское имя Иосиф не может не привлечь просвещённого внимания нашего. Как не привести тут другую цитату — из невероятного, хотя и не отправленного, письма Зигмунда Фрейда, одного из главных фантастов XX века, Томасу Манну, главному его иронисту. Прочитав очередной том «Иосифа и его братьев», венский мечтатель задался сакраментальным вопросом, «существует ли историческая личность, мифическим прототипом которой» была жизнь Иосифа Прекрасного, и сам же на этот вопрос ответил. Да, существует: эта личность — Наполеон I. Вся аргументация, если это можно назвать так, строится на той роли, которую имя Иосиф играет в жизни великого корсиканца. У него был старший брат Жозеф, место которого он стремился занять; он женился на Жозефине Богарнэ; прощал ей любые измены; отправился покорять Египет, чтобы доказать ей и миру, что он-то и есть Иосиф (конечно, Египет; без Египта какой же Иосиф Прекрасный?); разведясь с ней, предал своё высшее «я», утратил удачу, потерпел поражение. У Сталина не было никакого старшего брата Жозефа, и Жозефина ему тоже не требовалась. Зачем ему всё это, если он сам — Иосиф? А вот почему он назвал своего старшего сына Яковом, то есть Иаковом, то есть, в той же безумно-мифологической логике, произвёл на свет собственного отца, чтобы потом позволить ему погибнуть — в этой логике как же без отцеубийства? — об этом нам уже ни Фрейд, ни Юнг не расскажут (хотя и могли бы).

Наполеон, отрёкшись от Жозефины, проиграл, Сталин, оставшись Иосифом, победил — и на этом сходства, конечно, заканчиваются, аналогия уже не работает. Она бы работала, если бы Наполеон разгромил коалицию или Сталин потерпел поражение во Второй мировой войне; но тут впутывается, и всё запутывает, другая логика — логика времени. Эта логика времени имеет имя — Гитлер. Наполеон боролся с «Западом» (сиречь Англией); Сталин (вовсе того не желая) был вынужден сам с ним вступить в коалицию. Эта коалиция его и спасла, с ним спасла и империю, им созданную. Наполеон закончил поверженным, закончил из-

гнанником; Сталин – триумфатором, властелином полумира. Вместо Эльбы – мавзолей, рядом с Лениным; вместо Святой Елены – могила у кремлёвской стены. Если изгнание – то уже только посмертное. Потому при Хрущеве наступает не реставрация, а нечто новое, чему аналогов я не вижу. Всё же революционный цикл продолжается, с неизбежными вариациями, вносимыми в логику события тремя другими перечисленными мною факторами, вкуче со множеством не перечисленных. Альбер Камю пишет в «Бунтующем человеке», что революционный цикл во Франции закончился лишь в 1919 году и что вся история XIX века со всеми его революциями, большими и малыми, его реставрациями, его пертурбациями – это история «восстановления народовластия в борьбе со старорежимными монархиями, то есть история утверждения гражданского принципа», который окончательно восторжествует лишь после Первой мировой войны. «Только тогда проявятся последствия принципов 1789 года. Мы, ныне живущие, первые, кто может ясно об этом судить». (Написано точно не знаю когда, опубликовано в 1951 году.) Сто тридцать лет, следовательно (1789–1919). Переводя на русский, получим: 1917–2047; дожить бы... Всё же есть что-то обнадеживающее в этой мысли. Я-то не доживу, да и на что мне, а вот кто-нибудь из читающих эти строки, возможно, и доживёт. Дожившие тоже, кто знает, станут первыми, кто сможет ясно судить обо всём этом. Впрочем, в России революционный цикл может продлиться и дольше (фактор места; в России всё по-другому). Боюсь, мы сейчас лишь где-то на уровне Наполеона III, сходство с которым нынешнего российского диктатора уже не раз отмечалось. Если не поверить, но хоть попробовать в это поверить, тогда впереди у нас что-то вроде Франко-прусской войны (эта война уже идёт? или мы видим только пролог к ней?), Парижской коммуны, Третьей Республики... здесь, боюсь, мы вступаем в область гаданий, оракулов, прочей кофейной гущи, вязнуть в которой мне вовсе не хочется.

Вряд ли изъеденный оспой кремлёвский карлик, Наполеон I русского революционного цикла, видел своё сходство с братом Жозефа и мужем Жозефины (впрочем – кто знает?); он равнялся на Ивана Грозного (а русский Наполеон, скажу ещё раз, не может на него не равняться). Он и вправду похож на Ивана своей жестокостью, своей паранойей. Но траекторией своего правления, своей ролью в истории он на Ивана не похож несколько. Скорее уж на Ивана похож теперешний кремлёвский карлик, разглаженный ботоксом, исполнитель роли Наполеона III в том кровавом фарсе, в который неизбежно вырождается кровавая оргия революции. В рассуждении кровавых оргий ни до Иосифа, ни до Ивана он, пожалуй, пока не дотягивает (хотя многое, боюсь, ещё впереди), но в остальном сходства бросаются в (по-прежнему полные слёз) глаза.

С самого начала понятно было, что царь – злой, сложный. Кто ж не помнил, как он ещё мальчиком кидал кошечек с высокого крыльца в Коломенском, наслаждался мяуканием их предсмертных мучений? Как тринадцатилетним отроком, разгневавшись на Андрея Шуйского (дедушку будущего боярского полугарька, погубителя восхитительного Димитрия, героя моего романа, во всех смыслах и смысликах...), повелел его, Андрея Шуйского, «предати псарям», а псари уж псам бросили, а те уж разорвали его на кусочки, каковые кусочки долго валялись потом в каких-то, не знаю именно каких, воротах на радость

и поучение москвитам: и детям боярским, и людям посадским? Все это помнили; и что преемник Бориса Негодунова – маленький серенький кэгэбэшник, с залезанными волосиками и ледяными, мёртвыми, пустыми глазами, тоже знали и видели, хоть бы и пытались самих себя успокоить и обмануть. Всё-таки поначалу с ними обоими можно было как-то поладить, как-то договориться, даже кое-какие реформы провести, и своих советчиков они слушались, свою «Избранную раду» терпели, и успехов достигли, Казань взяли, даже и нефтедолларами с посадскими людьми поделились. В общем, первая половина царствования – хорошая, с оговорками; вторая, без всяких оговорок, чудовищная. А потому что – «поворот на Германы», возобновление вечной войны с проклятым Западом, с латыняными да лютерами, пиндосами да америкосами, да и с прочим отродьем бесовским. А советчики-то против, советчики всё о нуждах народных пекутся, всё о свободе да об энтих, как их, правах человека толкуют, а человека-то никакого и нет на Руси, так, людишки. А до величия государева, до царства могучего им и дела нет, собакам, предателям, безродным космополитам. Да лазутчики они и шпионы, да продались же Соросу и пошлой девке Елизавете. Так что «Избранную раду» разогнать, попа Сильвестра сослать в дальний монастырь, Алексея Адашева под стражу посадить, чтоб он там поскорее и помер; вот вам наш царский указ. Князя Курбского тоже хорошо бы на дыбу вздернуть, да он, гадёныш, в Литву убежал, а либерасты-то всегда в Литву убегают, вот и нынешние бегут, кто в Литву, кто в Неметчину. Ничего, найдётся и на них Малюта Скуратов.

Опять же – опричнина. У товарища Сталина, прошу заметить, никакой опричнины не было. У товарища Сталина все его опгу, нквд, все ягоды и ежи, были винтиками единой государственной машины, не просто повиновались любому вздрогу его усов, пыху его трубки, шевелению сухой руки, но были частью той же системы, что и цики, и вцики, и наркоматы, той же земщины. Ничего опричь земщины не было и быть не могло. Это уж геноссе Путин, В. В., завёл себе в *pendant* к чк – чвк (вставив собственный инициал в любимую аббревиатуру; а вы думали, почему?). Правда, его опричнина против него взбунтовалась, пошла походом аж на первопрестольную. Да скоро схлопнулась, да и пригожий малюта скоро сверзился с махолёта. Когда опричнина закончилась, Иван, как известно, запретил её даже и поминать; Путин не запрещал говорить о Пригожине, но все и так замолчали, как будто и не было ничего. А ничего ведь и не было. Была опричнина – нету опричнины, был Пригожин – поминай как звали. Дмитрием, кажется? Ну прямо как временного царька. Опять же – временные царьки, подменные государики, Симеон Бекбулатович и Дмитрий, прости господи, Анатольевич. Никаких, опять же, подменных царьков у товарища Сталина не было и в заводе; даже помыслить страшно. Этим тоже страшно, по всем приметам. Симеон Бекбулатович процарствовал одиннадцать месяцев; Иван Грозный, отправив его в отставку, обращался с ним, похоже, неплохо, пожаловал Тверским княжеством. Плохо пришлось ему при наследниках Грозного, при Фёдоре Иоанновиче ещё ничего, а вот Годунов уже видел в нём соперника и опасность, сослал в какое-то село, разорил, возможно, и ослепил. Димитрий постриг его в иноки в Кирилло-Белозёрском монастыре, Василий Шуйский от-

правил аж в Соловки. Всё-таки Смуту он пережил; Михаил Романов ещё успел вернуть его, слепого старца, в Москву. Смута, вполне возможно, ждёт нас и после того, как нынешний правитель отправится, наконец, в тот ад, из которого вышел; если не сразу (тогда она тоже сразу не наступила), то вскоре. Впрочем, кто знает? Логика места, и логика времени, и логика события, и уж совсем непредсказуемая логика личности вступают всё в новые, новые сочетания, как стеклышки в калейдоскопе, смотреть в глазок которого так любили мы в нашем далёком детстве.

Монологи и диалоги

У Гёте люди не разговаривают, они «держат речи». Это традиция античной прозы, она ещё чувствуется. Как у Тацита, как у Саллюстия. Вот и отлично. Это (как правило) бесконечно интересней и занимательнее всех ваших (наших) будто бы «реалистических» диалогов.

«Машенька» и «Вечер у Клэр»

Не удавшийся роман с целомудренной Россией и вполне удавшийся роман с развратной Францией (впрочем, не вполне правдоподобной). Две первые книги, которые часто сравнивают друг с другом, не замечая, что в жизни их авторов всё вышло наоборот: признание Набокова на «Западе», в том числе и во Франции, – давнее, несомненное; роман с эмигрантской Россией, «Россией вне России» случился сразу; а вот романа с «Россией в России» пришлось ждать долго, до перестройки. Газданова же по сути только начинают – и в той же Франции, и в Германии – переводить, издавать, узнавать; «утро любви» занимается на наших глазах.

Молодость, старость

Студентка, в которой уже видна училка; как это страшно. Её будущее уже существует. Почему это страшно? Потому что она молодая. Молодость – время возможностей; всё ещё открыто. А ты видишь, что всё уже определено, решено; видишь эту взрослую скучную женщину в молоденькой девушке. Уже жалеешь её учеников, даже ещё не родившихся.

Манфред

В моей жизни было несколько Манфредов; одного – в комических жёлтых штанах, с бутылкой шампанского «Мумм» в левой и тонконогими бокалами в правой руке, на станции Berlin-Zoo, в 1988 году – я описал, даже не поменяв его имени, в первой главе «Парохода в Аргентину».

Другой Манфред, лет пятнадцать спустя, был случаен и мимолётен, настолько случаен, что теперь даже я не уверен, был ли он, действительно, Манфредом, не был ли Вольфгангом. Случайной была и компания, в которой я встретил его, впрочем – в месте отнюдь для меня не случайном, на юге Франции, недалеко от Béziers – месте, хоть и не названном, но тоже описанном в «Пароходе». Из всех случайных персонажей того лета он был примечательнейшим – в отличие от своей училки-жёнущки, не примечательной несколько, скучной до зубной боли, потому и оставшейся безымянной. Они были оба велосипедисты. Привезли с собой из Германии на крыше своего серебряного «мерседеса» какие-то осо-

бенные велосипеды, особенно алюминиевые, немыслимо лёгкие, сверкающе скоростные; гоняли на них по прекрасным и пустынным Севеннам, начинавшимся сразу за нашей деревней. Безымянная жена была долголягая, жилистая, вся из мускулов и занудства; он просто сильный, спортивный; небольшой, белобрый и плотненький. Оба ставили себе каждое утро достойную их задачу (проехать сто километров, сто пятьдесят километров, сто семьдесят пять километров по прекрасным и пустынным Севеннам, начинавшимся за деревней); поставленные задачи решали неизменно, при любом мистрале и даже в грозу; воля у обоих была несколько не алюминиевая. А он хотел бы ещё больше спортом заниматься, чем уже и так занимается, сказал он мне как-то. Зачем, я спросил. А затем, что если он будет ещё больше спортом заниматься, чем и так уже занимается, то сможет ещё больше работать, чем и так уж работает. Зачем, снова спросил я. Как зачем? Чтобы ещё больше зарабатывать, чем он и так уже зарабатывает. Зачем, спросил я в третий раз. Этого третьего «зачем?» он не вынес; отошёл от меня, негодуя.

А зарабатывал он отлично; в фирме «Мерседес-Бенц» все зарабатывают отлично. Он был по образованию психолог, учившийся, даже, кажется, защитивший диссертацию в том баварском университете, где все мы и познакомились, он – со своею женою-училкой, с её сокурсницами и моими приятельницами, я – с этими самыми приятельницами, позвавшими меня провести вместе с ними небольшой кусок лета на далёкой французской сторонке. Все приятельницы, быть может – любили, точно – уважали этого Манфреда (который, боюсь, был Вольфганг); Манфред (говорили они) так хорошо умеет наслаждаться. То есть это было его главное отличительное свойство, его фирменный знак. Вот тот Манфред, который так хорошо умеет наслаждаться. *Das ist der Manfred, der so gut geniessen kann.* И правда, приятно иметь дело с человеком, который умеет *geniessen*. Другие-то не умеют, а он вот умеет. Жена его, училка, совсем не умела *geniessen*, и наши общие приятельницы, хоть и делали, что могли, всё-таки наслаждались бездарно, без вдохновения. А он садился, помню, на террасе, в тени виноградных лоз, стлавшихся по стене за ним и балкам над его головою, ставил перед собой чашечку любовно сваренного эспрессо, ногу закидывал за ногу, сощуривался на синие склоны Севенн и – хоть картину рисуй с него – наслаждался. А как поехали мы, в страшную жару, в Монпелье, так все приятельницы побежали сразу в музей, причём быстро побежали, не почему-либо, а потому что хотели ещё и в какой-то другой музей поспеть до закрытия, или до обеда, или до ужина, или ещё до чего-то – в общем, сплошная спешка, по полной туристской программе, при сорока по Цельсию, что в тени, что на солнце, – и только мы с ним вдвоём сразу же уселись в кафе на площади, под, на сей раз, густыми платанами, заказали себе роскошное, какое только во Франции и бывает, мороженое – Эверест мороженого, куда там Севеннам! – и принялись *geniessen* на пару. Его, похоже, на факультете психологии научили *geniessen*. А он теперь должен был учить этому менеджеров в «Мерседесе». А то ведь менеджеры забывает *geniessen*, все только работают, зарабатывают свои миллионы. Нужно им дать установку: *geniessen* пятнадцать минут ежедневно. Если пятнадцать минут ежедневно *geniessen*, работа сразу пойдёт веселее, быстрее. Да ещё и пару лишних

миллионов заработаешь, если *geniessen* научишься. Это я вам ответственно заявляю, как мимолётный приятель психолога с самого «Мерседеса», имевший честь пить с ним кофе и есть мороженое на главной площади в Монпелье.

Вообще, людей можно много чему научить, много к чему приучить. Под конец нашего пребывания в возлюбленном Лангедоке я даже сумел приучить этого Манфреда (или всё-таки Вольфганга?) не вздрагивать и не впадать в ступор в ответ на мои шутки, не объявленные заранее. Говорят, у немцев нет чувства юмора. Это злостная клевета, свидетельствующая о полном незнании предмета. У немцев отличное чувство юмора, просто – предупреждать надо, нельзя же так сразу. Предупредишь немца, что – сейчас будет шутка, он на шутку и настроится, шутку оценит, от души посмеется. Здесь дело не в чувстве юмора и не в отсутствии оно, а в страхе перед неожиданностями. Страх перед неожиданностями, неприятными сюрпризами, вообще всем новым и неизведанным – главное, боюсь, германское чувство, лишь понемногу изживаемое, в самые последние годы, самыми новыми поколениями; корни его лежат глубоко, глубже мировых войн, и говорить о нём надо отдельно, более, что ли, серьёзным тоном. Возвращаюсь к несерьёзному. А что есть несерьёзное – ирония, юмор etc. – как не вторжение неожиданного, неизведанного, потому скандального и шокирующего, в нормальное, обыденное, банальное? Вторжение преступного беспорядка в привычный порядок. Порядок должен быть, *Ordnung muss sein*, а тут вдруг шуточки, где ж это видано? Не объявленная заранее шутка – ведь это почти провокация, почти пощёчина, ведь это – чёрт знает что такое, *meine Damen und Herren*, да куда же смотрит полиция? Но можно приучить человечество, что ты вообще шутишь, что это у тебя свойство такое. Одни умеют *geniessen*, другие мастера *Witze machen*, *делать вицы*, как сказано в «Даре». Тогда люди на тебя смотрят – с заранее заготовленной улыбкой. Знают, что ты сейчас будешь *вицы* выделять, – и не только не волнуются, а прямо-таки предвкушают... В общем, приучил я Вольфганга (он же Манфред) к своим экзотическим манерам. Жену его не приучил, не хочу хвастаться, а его приучил.

Тут, однако, пришло для них время отъезда. Взгромоздив свои алюминиевые на крышу серебряного, помахав остающимся, навсегда исчезли они из моей жизни. Не знаю, что с ними стало; не знаю, или знаю лишь понаслышке, что стало с общими нашими приятельницами, в одну из которых тогда, уже больше двадцати лет назад, я был глупо, грустно влюблён (о чём здесь не собираюсь рассказывать). Боюсь, ничего хорошего; просто как-то все постарели. Но (чтоб уж закончить на менее нерадостной ноте) умение *geniessen* действительно, Вольфганг прав, помогает нам, хоть отчасти, справиться с невзгодами жизни, беспросветностью бытия. Пойду эспрессо, что ль, выпью.

Мнение, общее и всеобщее

Ещё в юности я заметил, что книга, о которой *все* говорят, которой *все* восхищаются (как, вы ещё не читали? быть не может! прочитайте немедленно!) – что такая книга оказывается в лучшем случае посредственной. Как правило, она оказывается фуфлом, барахлом. И фильм, который *все* бегут смотреть, сломя голову, оказывается фуфлом. Потому что *все* – плохие зрители, тем более: плохие читатели. *Все* – это гейдегтеровское *das Man*, достоевское *всемство*. *Все* лише-

ны чутья, лишены ума, лишены вкуса. Ум, вкус и чутьё могут быть только у тебя, у меня, у него, у неё; никогда не у *всех*. Поэтому я давным-давно перестал читать то, что *все* читают, о чём *все* говорят. О знаменитых на весь мир Иксе, Игреке и Зеде не могу, извините, сказать ничего, равным счётом. Ни разу не открывал, не брал в руки. И, конечно, *все* за это ненавидят меня, мечтают уничтожить меня да и уничтожат меня, если только представится им такая возможность.

Малиновое варенье

В гости пришли два философа с банкой малинового варенья. Они принесли ещё кое-что: бутылку вина, бутылку портвейна, сыр и конфеты. Всё это очень мило; но всё меркнет перед фразой: «в гости пришли два философа с банкой малинового варенья». Прекрасное начало рассказа; дарю.

Мгновения жизни

Есть мгновения жизни, которые *en retrospectivе* тебе кажутся родиной. И никакой другой родины у тебя, разумеется, нет.

Мадлен

Конечно, первое, что я сделал, приехав в Париж в 1988 году – и если не самое первое, не будем всё же преувеличивать, то второе, четвёртое, – купил, торжественно попробовал печенье (или правильнее: пирожное?) «мадлен» (или «Мадлен»: Пруст пишет его с прописной буквы: *un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines*). Нет, точно не первое; первым было просто, глупо: зайти в табачную лавку, купить красно-золотую плоскую пачку «Данхилла» – *un paquet de Dunhill, s'il vous plaît*, – выйдя на улицу, открыть её, освободить от целлофановой оболочки, вынуть золотую фольгу из одной её половинки – пачки «Данхилла», не знаю, как теперь, в ту пору поделены было надвое: по десять сигарет в каждой кармашке, – небрежно, шикарно, всё скомкав, бросить целлофан и фольгу в удачно подвернувшуюся урну, закурить терпко, сладко пахучую сигарету с золотым ободком, – небрежно, шикарно выпустить дым изо рта – из ноздрей, из ушей, из глаз и всех мыслей, – с идиотским, над самим же собою смеющимся, но сколь всё же сладостным чувством, что – вот: вот же я в Париже, вот, смотрите все на меня, вот, такой молодой и красивый, с так лихо трясущимися кудрями, выхожу из табачной лавки на парижскую улицу – не помню, кстати, какую: какую-то, кажется, вполне затрапезную, где-то в задах Монмартра, где тогда жили мои знакомые, за пару часов до этой первой парижской сигареты встретившие меня на *Gare du Nord*. Жизнь – «театр для себя». Мы разыгрываем крошечные сценки с незримой публикой и с самим собою; мы входим и выходим за день из сотни микроскопических, едва намеченных в нашем сознании ролей. Особенно в молодости эта театрализованность нашей внутренней жизни бывает мучительна; с годами, как кажется, она стихает, да и мы успокаиваемся. А кто писал об этом? кто об этом думает? кто это видит? Вряд ли, за целую жизнь, встретил я трёх или четырёх человек, которые по крайней мере поняли, о чём я пытаюсь поговорить с ними, когда вообще заговариваю (но я больше не заговариваю) о том, что на самом деле происходит (ежеминутно, ежесекундно) у них в голове. Подавляющее – во всех смыслах – большинство человечества к интроспекции

решительно не способно; их внутренний театр (то есть самая суть их) не только не интересен им, но, мне часто кажется, вызывает у них страх и отталкивание. Внимание направлено вовне; к вещам понятным и осязаемым. Внутренность мыслей отпугивает так же, как телесные внутренности. Я знавал людей, которым становилось плохо, едва кто-нибудь заговаривал с ними о том, что у них – у них! – где-то там внутри, в таинственных и тёмных дебрях их тела, – есть печень, есть селезёнка.

Вернёмся, однако, к мадленкам (с прописной уж или со строчной). Теперь я знаю, что купил печенье (или это всё же пирожное? это что-то среднее между пирожным и печеньем) неправильной формы – корабликом, а оно должно быть – ракушкой, словно выпеченное «в волнистой створке морского гребешка» (как сказано в новом переводе Баевской); или, как в старом переводе Франковского, «одно из тех кругленьких и пузатеньких пирожных (...), формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков»; или (чудовищно) в (вообще-то очень хорошо, по крайней мере, в первых трёх томах) переводе Любимова, «одно из тех круглых, пышных бисквитных пирожных, формой для которых как будто бы служат желобчатые раковины пластинчатожаберных моллюсков»; в общем (процитирую ещё раз в оригинале, теперь целиком) «*un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques*». Про моллюсков я в ту минуту, скорее всего, забыл, или в булочной-кондитерской (*boulangerie-pâtisserie*) в задах Монмартра, где осенью 1988 года я купил свою первую в жизни мадленку, других не было; только – корабликами. Я съел его (печенье), или, если вам больше нравится, её (мадленку), немедленно, прямо на улице, с тем же (примерно, но только примерно) чувством, с каким выкурил свою первую парижскую сигарету: вот же он я, в Париже, стою на улице, перед *boulangerie-pâtisserie*, ем печенье мадлен. В этом чувстве (попробую проанализировать его на прустовский же манер) на сей раз почти не было ни задора, ни вызова; не было этого растиньяковского привкуса (*à nous deux, maintenant*), который был в моём «Данхилле»; скорее в нём было что-то углублённое, созерцательное (как в прустовских переживаниях и должно быть), как если бы я сам пытался найти в новом для меня и, в сущности, довольно неприятном вкусе этой мадленки какое-то своё собственное, забытое мною прошлое, которого я в ней найти, конечно, не мог. Я бы мог найти его в чём-то (я думал и думаю), что пробовал в детстве – а потом уже никогда, так что если бы снова попробовал, оно, детство, могло бы ожить во мне (хотя могло бы и не ожить... кто знает, от чего это зависит?), как в прустовском рассказчике оживает его Комбре, с тётей Леонией и прогулками «в сторону Сванна» (или Свана, в другом переводе).

Об этом печении (пирожном) мадлен написано так много, что кажется, ничего больше и не скажешь. Это пирожное (печенье) мадлен есть, в сущности, один из главных символов XX века – и очень понятно почему. Бог умер, вечность отменена. Остаётся лишь время с его неизменным, непоправимым распадением натрое. Остаются лишь отзвуки вечности, намёки на вечность, которые можно искать или в будущем, или в прошлом, или, наконец, в настоящем. В будущем, говоря очень грубо, их ищут утописты, авангардисты, прочие футуристы, стро-

ители безбожного царства Божия в снежных и бесснежных пустынях, по которым, независимо от климата, географии, топографии, всё бродит и бродит лихой человек с топором, торпедой и томагавком. Мне всегда это было чуждо, даже враждебно; потому, за редкими исключениями, никогда ничего не значил для меня авангард, ни право-, ни левореволюционный, ни Маяковский, ни Маринетти (оба на М... ну и чёрт с ними обоими). Обратимся к настоящему; о настоящем, как и о прошлом, можно говорить хоть сколько-нибудь всерьёз. Можно ли? Прошлое призрачно; настоящее неудовимо. Всё же бывают мгновения – как золотые слитки; мгновения, словно выпадающие из обычного бессмысленного течения времени; мгновения «вечного настоящего», *nunc stans*, говоря языком мистиков.

И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось — хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.

Ходасевич знал толк в таких «мигах». А я так часто писал обо всём этом, что не хочу повторяться; позволю себе просто процитировать «Предместья мысли»:

«Кому из нас не знакомо это внезапное переживание глубины, полноты мира? эти волшебные мгновения, когда всё вокруг нас, да пожалуй, и в нас самих, кажется исполненным – если угодно, божественной – красоты и силы, какого-то внутреннего сияния и смысла? Мы примиряемся с жизнью в такие мгновения. Иногда я думаю, что только они одни-то и примиряют нас с жизнью, в то же время выхватывая нас из неё и поднимая над нею. Наверное, в молодости, покуда все впечатления бытия ещё новы, они нам более свойственны, чем с годами, когда восприятие вообще притупляется (впрочем, и здесь бывают, как во всём, исключения)».

В «Предместьях» я привожу, как говорится, примеры, которые здесь опускаю; процитирую лишь коротенький отрывок о Прусте:

«Эти мгновения имеют свойство повторяться (что отмечает, кстати, и Пруст, великий мастер и знаток сих прерывающих, превышающих повседневность переживаний). В нашей юности они просто есть (вот этот дождь, эти три пресловутые колокольни, на которые смотрит Марсель в первом томе своего эпоса, этот не менее знаменитый боярышник); с течением времени, утеканием жизни они начинают говорить о мгновениях предыдущих (говорят ли ещё о чём-то? вот вопрос, на который у меня нет ответа); мы смотрим – и вспоминаем; переживаем наше настоящее – но переживаем и прошлое в настоящем, воскрешение прошлого в настоящем».

Есть маленькая статья Мишеля Бютора, которая так и называется «:“Мгновения” у Пруста» («*Les “moments” chez Marcel Proust*»), вошедшая в его книгу «*Essais sur les modernes*»; он предлагает там что-то вроде классификации этих магических моментов у Пруста, деля их на «впечатления» (*les «impressions»*) и «реми-

нисценции» (*les «réminiscences»*): классификации, впрочем, восходящей к самому Прусту. Парадокс в том, что и в чистых (детских и юношеских) «впечатлениях» есть элемент «припоминания», в платоновском смысле, то есть не воспоминания о каком-то другом «впечатлении», которое у тебя уже было, но о чём-то, что лежит как будто по ту сторону и твоей жизни, и дающих тебе это «впечатление» вещей, будь то цветущий боярышник или три колокольни, меняющиеся местами, куда ты едешь домой с прогулки. О платонизме Пруста тоже писали немало; о нём писал уже известный (или назвать его знаменитым? такие эпитеты всегда отзываются Большой, пардон, советской энциклопедией) швейцарский филолог Эрнст Роберт Куртиус в едва ли не первой книге, целиком посвящённой Прусту (1925); её заключительная глава так и озаглавлена «*Platonismus*». А где платонизм, там, понятное дело, и метафизика недалеко... Уже в первых – по времени действия – «магических моментах» появляется этот – конечно, важнейший – мотив чего-то, что таится за явлениями и что, соответственно, составляет их тайну, их глубинную сущность, которую постичь мы не в силах. Мы чувствуем это «что-то» – и остаёмся, в итоге, один на один со своим чувством, с этой загадкой, которую они задают нам и которую разгадать мы не можем, этой задачей, которую мы не способны решить.

«Я вдруг останавливался при виде какой-нибудь крыши, солнечного блика на камне или оттого, что дорога пахла как-нибудь необычно: я испытывал перед ними совершенно особое удовольствие, а кроме того, казалось, они таят нечто недоступное моему зрению и приглашают меня до этого добраться, но, как я ни старался, я не мог понять, что там такое. Но я чувствовал, что это находится у них внутри, и вот я застывал на месте, смотрел, нюхал, пытался мысленно проникнуть по ту сторону образа или запаха».

Так (в переводе Баевской) пишет Пруст (или, если угодно, рассказчик) в первом томе, в главе о Комбре; в последнем, приближаясь к финалу, удивляясь и умиляясь единству своей личности, сходству переживаний теперешних с переживаниями тогдашними, вспоминает он, как ещё в детстве,

«тщательно фиксировал в мыслях какой-то образ, который прямо-таки заставлял обратить на себя моё внимание: облако, птичий клин, колокольню, цветок, камешек – смутно чувствуя, что было за всеми этими знаками нечто другое, что я должен попытаться разгадать, какая-то мысль, которую они передавали с помощью иероглифов, хотя казалось, будто это самые обычные предметы. Конечно, расшифровка была трудной, но только она позволяла прочесть что-то истинное».

Можно спорить о том, удалась ли она вообще, эта расшифровка, может ли она удалась в принципе? Ведь тайна остаётся тайной, и *призыв* тайны остаётся призывом, куда тайна не перестанет быть тайной. Мы слышим этот *призыв* (тихий зов, нежный оклик, безмолвный призыв, как я писал, пардон, в «Максе»); мы хотим на него *ответить*. Мы не знаем как; мы думаем, что надо ответить *сразу*; ответить хотя бы нашим вниманием: к облаку, колокольне. Но внимание ослабевает; но продлить усилие ума дальше какого-то не нами положенного предела мы не можем; «магические мгновения» неотвратимо, непоправимо за-

канчиваются. Ответить сразу мы можем не всегда и не надолго; не можем ли ответить потом? Не в том смысле, что можем пережить снова то же магическое мгновение, увидеть те же три колокольни – или те же три дерева, которые Пруст видит во втором романе и в которых, хотя отчасти, повторяются три колокольни, увиденные в первом, – но в том смысле, что, вспоминая их, мы превращаем их во что-то совсем иное – «в слова и фразы, эпитеты и сравнения, подтёмы или, наоборот, падения ритма»; прошу прощения за ещё одну самоцитату. Беда в том, что наш ответ нам самим всегда кажется недостаточным; призыв, так нам кажется, исходит от чего-то, несоизмеримого с нами, превышающего все наши свершения и наши возможности. Как прекрасно сказано у Роберта Музиля:

«Летнее море и осенние горы – два тяжких испытания для души. В их безмолвии скрыта музыка, превышающая всё земное; есть блаженная мука бессилия – от неспособности подладиться под эту музыку, так расширить ритм жестов и слов, чтобы влиться в её ритм; людям не поспеть за дыханием богов».

Этот таинственный, непобедимый, необъяснимый призыв вещей, требующий от нас ответа, которого мы, как нам, повторяю, кажется, дать не способны, – это, вообще говоря, одна из великих тем XX века; странно, что я не нахожу её в XIX (или я чего-то не вижу, не знаю?). Она ясно, незабываемо прекрасно звучит у Рильке – в первой «*Дуинской элегии*», например; вот, в переводе В. Микушевича, который я нашёл в интернете (все переводы, конечно, условны и приблизительны).

Да, вёсны нуждались в тебе, и звёзды надеялись тоже,
Что ты чувствуешь их. Иногда поднималась
Где-то в минувшем волна, или ты проходил
Под открытым окном и предавалась тебе
Скрипка. Всегда и во всём порученье таилось.
Справился ты? Уж не слишком ли был ты рассеян
От ожидания? Всё предвещало как будто
Близость любимой.

Не могу не процитировать в оригинале

Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche
Sterne dir zu, daß du sie spürtest. Es hob
sich eine Woge heran im Vergangenen, oder
da du vorüberkamst am geöffneten Fenster,
gab eine Geige sich hin. Das alles war Auftrag.
Aber bewältigtest du's? Warst du nicht immer
noch von Erwartung zerstreut, als kündigte alles
eine Geliebte dir an?

Das alles war Auftrag. Всё это было заданием, задачей, поручением. Ты сним справился, ты его выполнил? У нас у всех есть чувство, что мы не справились с нашей главной задачей, не выполнили главного поручения, не написали важнейших

книг, не додумали лучших мыслей. На самом деле, Рильке, как и Пруст, за свою, как и у Пруста, относительно короткую жизнь, всё выполнил, всё совершил. Он тоже говорит, однако – среди прочих возможных ответов и даже, наверное, в первую очередь, – об ответе непосредственном, ответе в настоящем – от которого будущее (а иногда и прошлое), мечты и мысли о будущем (а иногда и воспоминания, сожаления о прошлом) упорно нас отвлекают, как ни стараемся мы в нём удержаться. Мы не удерживаемся в настоящем (улетаем в будущее, падаем в прошлое); вернее, мы в нём удерживаемся лишь в те редкие магические мгновения, о которых я сейчас и толкую, или в те продлённые усилием воли (или – лучше, парадоксальней – усилием безволия) магические уже не мгновения, но всё равно всегда краткие, слишком краткие, отрезки и промежутки времени, которые даются нам, случаются с нами во время так называемой медитации, дзен-буддистской ли, ещё ли какой-нибудь, о чём я так много писал в других книгах (в «Остановленном мире» в особенности), что не хочу здесь к этому возвращаться.

Наши сожаления и наши желания, наши мечты отвлекают нас от настоящего едва ли не в первую очередь. Эрос сталкивается с Эросом. Эрос познания, Эрос, если угодно, платоновский сталкивается – он всегда с ним сталкивается – с Эросом в совсем другом, буквальном, если хотите, смысле (что не совсем равно, или даже совсем не равно, замечу уж в скобках, вечному спору Афродиты Урании с Афродитой Пандемос в каждой, отдельно взятой человеческой душе, – спору, обрекающему её, душу, на непрерывные метания и муки). Всё это было заданием, призывом – и волна, и скрипка, и, в соседних строках, вчерашняя улица, и дерево на склоне, – но ты-то мечтал о любви, о возлюбленной, как если бы всё это – и скрипка, и дерево, и волна – тоже говорило о ней, предвещало её, хотя всё это говорило, может быть, совсем не о ней; ты мечтал, а не мыслил; грезил, а не смотрел; вожделем и потому не видел того, что хотело быть тобою увиденным. В одном из прекраснейших, на мой взгляд и вкус, месте всего романа (во второй части второго тома: месте, которое мне придётся, хотя и сильно сокращая его, процитировать всё же в некоторых подробностях) Пруст (хорошо – повествователь) рассказывает, как он едет, наконец, на поезде, со своей замечательной бабушкой, в Нормандию, в тот самый «Бальбек», куда он так долго мечтал попасть, курортный городок, прообразом которого был курортный же городок Кабур, куда с тех пор устремляются прустиианки и прустиианцы (где мне удалось побывать в середине 1990-х годов, уже скоро тридцать лет тому назад; попаду ли ещё туда в этой жизни?); рано утром «в раме окна, над чёрным мелколесьем» появились (в переводе Баевской) «облака с рваными краями, покрытые нежным пухом незыблемо-розового, мертвенного цвета»; потом их цвет оживился, небо заалело; рассказчик, «чувствуя, что этот алый цвет как-то передаёт глубинную суть природы», прижимается глазами к стеклу, стараясь получше его рассмотреть; потом поезд поворачивает, розовая, вернее уже красная полоса рассвета оказывается с другой стороны, и он бежит от окна к окну, «чтобы сложить и закрепить мелькающие то с одной, то с другой стороны фрагменты моего прекрасного, алого, переменчивого утра и составить из них единую, полную картину». Наконец поезд останавливается «на маленькой станции

между двух гор». «В просвете между ними виднелась горная речка, а на берегу сторожка, и вода словно текла на уровне её окон». «Высокая девица, что вышла из сторожки и теперь по тропе, освещённой косыми лучами рассвета, шагала к станции с кувшином молока в руках», кажется ему воплощением этого пейзажа, этого утра.

«Её лицо, покрасневшее под утренними лучами, было розовее неба. При виде её во мне опять проснулось желание жить, которое всегда возрождается в нас, когда мы вновь вспоминаем о красоте и о счастье. (...) Жизнь показалась бы мне восхитительной, если бы я мог провести каждый отведённый мне час жизни вместе с ней, провожать её к речке, к корове, к поезду, быть всегда рядом, быть её знакомым, занимать её мысли. Она приобщила бы меня к радостям сельской жизни и к блаженству вставать на заре. Я кивнул, чтобы она принесла мне кофе с молоком. Мне нужно было, чтобы она меня заметила. Она не увидела, я её окликнул. Она была рослая, а лицо такого золотисто-розового цвета, словно я смотрел на неё сквозь озарённый витраж. Она повернулась и пошла в мою сторону, я не мог оторвать глаз от её лица, оно виделось мне всё крупнее, всё шире, будто солнце, но такое, от которого можно не отводить взгляда, пока оно наплывает на вас, даёт рассмотреть себя вблизи, ослепляя золотом и алым цветом. Она пронзительно глянула на меня, но проводники уже закрывали двери вагона, поезд тронулся; я видел, как она уходит с вокзала, ступает на тропинку, стало уже совсем светло, я уезжал прочь от зари».

Уезжая прочь от зари, рассказчик уже не пытается понять и углубить своё впечатление, но отдаётся маниловским мечтам о том, как хорошо было бы поселиться здесь, рядом с этой молочницей, начинает строить воздушные замки и планы, как бы так «исхитриться, чтобы сесть на тот же самый поезд и остановиться на той же самой станции»: мечты и планы, потакавшие, как он пишет (по-прежнему в переводе Баевской),

«корыстным и энергичным, удобным и машинальным, ленивым и центробежным порывам, притаившимся в душе у каждого из нас, потому что душа ведь всегда рада увильнуть от труда, необходимого, чтобы хладнокровно и бескорыстно дойти до самой сути впечатления, которое было нам приятно. С другой стороны, нам хочется подольше о нём думать – вот душа и предпочитает воображать его в будущем, измышлять обстоятельства, при которых оно возродится; это никак не проясняет для нас его сущность, но избавляет от утомительного воссоздания этого впечатления в нашем внутреннем мире и даёт надежду получить его когда-нибудь извне».

Корыстным и энергичным, удобным и машинальным, ленивым и центробежным порывам... В старом переводе Фёдорова говорится не о *порывах*, но о *расположении* («замысел, имевший то преимущество, что он давал пищу тому своеобразному, деятельному, практическому, машинальному, ленивому, центробежному расположению, в каком находится наш ум, ибо он охотно избегает усилия... и так далее»); у Любимова «расположение» заменено *умонастроением*.

И, наконец, у самого Пруста:

«*projet qui avait aussi l'avantage de fournir un aliment à la disposition intéressée, active, pratique, machinale, paresseuse, centrifuge... etc.*»

Этот ряд эпитетов (Пруст вообще не боялся нагромождения эпитетов) я мог бы выписать в столбик, если бы не боялся нарушить плавное течение моей прозы. Всё же разберём хоть некоторые из них (переведя в мужской род)..

Intéressé – своекорыстный, заинтересованный, то есть преследующий какой-то личный, частный, партикулярный интерес. Именно отсутствие этого частного, практического, корыстного интереса Кант, как известно, считал главным свойством, самой сущностью эстетического. От интереса партикулярно-практического недалеко отстоит – и так же далеко отстоит от искусства – интерес общественно-политический со всеми его вульгарными требованиями что-то там «отображать» и на что-то там «отзываться». Пруст забываемо пародирует это требование и отношение к искусству в разглагольствованиях старого дипломата маркиза де Норпуа, глашатая пошлости и провозвестника трюизмов, осуждающего Берготта, литературного кумира и до некоторой степени двойника самого рассказчика; маркиз и миллиардер поразительно напоминает здесь советских да и постсоветских критиков со всеми их идиотскими рассуждениями о какой-то «нашей жизни», блестяще показанной в романе такого-то (между тем, как «нашей жизни» вообще не существует, а есть только моя жизнь, твоя жизнь, его и её... о чём я написал в своё время маленькое эссе); впрочем, напоминает и нынешних общественно-озабоченных олухов.

«В такое время, как наше, (говорит маркиз в переводе Баевской) когда жизнь становится такой напряжённой, что почти не оставляет времени для чтения, когда карта Европы существенно меняется и, возможно, в скором времени её ждут ещё большие перемены, когда со всех сторон подступает столько новых грозных проблем, согласитесь, что мы имеем право ждать от писателя чего-то существеннее, чем возвышенный ум, погружающий нас в досужие и бесплодные споры о достоинствах чистой формы, в то время как на нас вот-вот обрушатся орды варваров, как пришлых, так и местных. Сознаю, что покушаюсь на святых, провозглашённые доктриной, которую эти господа именуют «искусством для искусства», но в наше время есть задачи более насущные, чем опыты гармоничного соединения слов».

Они есть, конечно, всегда, в любое время, эти «задачи»; любое время – «наше время» для тех, кто живёт несуществующей «нашей», сиречь не своей, жизнью. А с другой стороны, маркиз оказался пророком: орды варваров опять готовы обрушиться на несчастный, вечно гибнущий цивилизованный мир; всё же (так мы ответим старому цинику) задачи более насущной (*plus urgente*), чем «опыты гармоничного соединения слов» (*que d'agencer des mots d'une façon harmonieuse*) как в его время не было, так и сейчас нет.

Следующие эпитеты примыкают к первому: *actif, pratique...* это понятно. *Vita activa* и *vita contemplativa* редко дружат друг с другом. Мы *действуем*, как правило, в отчуждении от себя же самих; оттого наши поступки лишь в очень малой степени – наши (на этот раз без кавычек); мы являем миру маску, а не лицо.

Machinal: вот интересный эпитет. Машинальное, механическое значит: себя не сознающее. Машину можно научить считать, писать, рисовать, даже что-то вроде бы сочинять (хотя лучше бы её этому не учили), но невозможно одарить самосознанием. Чем более человек сознаёт себя, тем более он человек, тем менее он машина; наоборот, убывание, угасание, в конце концов отсутствие самосознания приближает его к механизму и мертвецу. Самосознание есть совпадение с собою. Но совпадение с собою даётся нам всякий раз ненадолго, на краткий, иногда и в самом деле магический миг. Жизнь не состоит из таких мгновений (увы); она вообще не из чего не со-стоит, потому что она не стоит; её течение вновь и вновь сносит нас в сторону, как те морские течения (есть ли они в Нормандии? в Провансе и в Лангедоке я имел с ними дело), которые, когда ты далеко заплывёшь и соберёшься уже плыть назад к берегу, вдруг не дают тебе доплыть до него, хотя ты так ясно, обострёнными страхом глазами видишь и людей, и зонтики на берегу, и мороженщика, толкающего свою тележку по самой кромке для тебя недостижимого, для тебя спасительного песка.

От Рильке – полагаю, что прямым – этот мотив переходит к Цветаевой (от которой мы ничего такого вообще-то не ждём); имею в виду её незабываемый «Куст» (1934). Цветаева, как всем известно, преклонялась перед Рильке, писала ему экзальтированные письма, откликнулась на его смерть одним из лучших своих стихотворений («Новогоднее», 1927). Семь лет прошло между этими двумя текстами; явно отталкиваясь от Рильке, она с ним одновременно и спорит.

Что́ нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую — голову прячу
В него же (седей — день от дня!).
Сей мощи, и плещи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей!

Вот как: не речи ж? А мне всегда казалось, что именно этого; да ведь и Рильке казалось так, если судить по тем же «Дуинским элегиям», особенно по девятой из десяти, моей, наверное, самой любимой, в которой этот ответ, это превращение мира – в слова, выступает как сквозной, основной мотив. Хочется процитировать если не всё, то многое; ограничусь самыми важными – и самыми знаменитыми – строками:

Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, –
höchstens: Säule, Turm... aber zu sagen, verstehs,
oh zu sagen so, wie selber die Dinge niemals
innig meinten zu sein.

В переводе Микушевича:

Быть может, мы здесь для того,
Чтобы сказать: «колодец», «ворота», «дерево», «дом», «окно».

Самое большое: «башня» или «колонна».
 Чтобы, сказав, подсказать вещам сокровенную сущность,
 Неизвестную им.

В переводе многое пропадает, тем более, что там есть, по крайней мере, одно, очень рильковское, непередаваемое слово (*innig*). Возможно, мы *здесь* (то есть здесь, на земле) для того, чтобы сказать: дом, мост, колодец, ворота, кружка, дерево (буквально: плодовое дерево), окно, – самое большое (буквально: самое высокое): колонна, башня... Но именно чтобы *сказать*, пойми, ах, сказать так, как сами вещи в глубине своей сущности (*innig*: вот это и вправду не переводится) никогда не надеялись быть.

Говоря, следовательно, мы как бы повышаем их бытийственный статус, надеяем их таким бытием (такой силы, такой интенсивности), на которое они сами даже не притязают. Вещи, в своей невинности, погибают, *преходят*; мы тоже исчезнем; а всё-таки задача спасения преходящего возложена на нас, самых преходящих из всех и всего.

Und diese, von Hingang
 lebenden Dinge verstehn, daß du sie rühmst; vergänglich,
 traun sie ein Rettendes uns, den Vergänglichsten, zu.
 Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln
 in – o unendlich – in uns! wer wir am Ende auch seien.
 Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar
 in uns erstehn? – Ist es dein Traum nicht,
 einmal unsichtbar zu sein? – Erde! unsichtbar!
 Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?

Прочитую ещё раз перевод Владимира Микушевича (другого у меня нет):

И эти кончиной
 Живущие вещи твою понимают хвалу.
 Преходящие, в нас, преходящих, они спасения чают.
 Кто бы мы ни были, в нашем невидимом сердце,
 В нас без конца мы обязаны преображать их.
 Не этого ли, земля, ты хочешь? Невидимой в нас
 Воскреснуть? Не это ли было
 Мечтой твоей давней? Невидимость!
 Если не преображенья,
 То чего же ты хочешь от нас?

Вновь всплывает слово *Auftrag* (задача, задание, поручение), которое мы слышали уже в первой элегии. Твоё настоятельное поручение (*dein drängender Auftrag*) – преобразить мир, сделать его невидимым, превратить в слова, в хвалу и прославление вещей. Мы здесь, чтобы сказать. Потому что здесь – время сказанного, родина слов. *Hier ist des Säglichen Zeit, hier seine Heimat*. «Здесь, как переводит Микушевич, время высказыванья, здесь родина слова»; и что ему остаётся, как перевести именно так? На самом деле у Рильке стоит невероятное *des Säglichen*: *сказанное* в противоположность *несказанному* (столь любимому русскими сим-

волистами; но этого он мог и не знать). Несказанное будет *там*, среди ангелов; здесь – время того, что может быть сказано и должно быть сказано. И вот это – почему, собственно? – и есть спасение вещей мира: спасение, которое они, преходящие, поручают нам, ещё более преходящим (*vergänglichlich, traun sie ein Rettendes uns, den Vergänglichsten, zu*). Это очень писательский ответ, будем честны друг с другом. Чего хотят от меня все эти деревья? В конечном счёте они хотят, чтобы я написал «Дуинские элегии», написал «В поисках утраченного времени». Ну, разумеется: чего ещё они могут хотеть от меня, если я Рильке, если я Пруст?

Наш собственный «бытийственный статус» всё это, увы, не поднимает. Ответ всегда недостаточен; «людям не поспеть за дыханием богов». Сразу вслед за «Дуинскими элегиями», на ветру того же вдохновения, Рильке сочинил, как всем известно, «Сонеты к Орфею»; в третьем из них сказана важнейшая для меня вещь. Песнь, сказано там, – это само бытие: *Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes*. Для бога оно – лёгкое, это бытие; или, переведём так, для бога – это легко: быть. Быть для бога, например – для Аполлона, упомянутого тремя строчками ранее, – это легко. Но мы – когда же мы есмы? *Wann aber sind wir?* Когда же мы по-настоящему, всерьёз существуем? Нам быть трудно, мы есмы изредка, лишь в эти магические мгновения, которые даруются нам так нещедно. Бытие дано богу; наш удел становление, изменение, непрерывное отпадение от себя и возвращение к себе. Мы в строгом смысле почти никогда не есмы; мы полуеты, недоесмы, так-себе-есмы. Мы существуем в *мэоне* (если я правильно понимаю этот греческий термин... и даже если я не совсем правильно его понимаю, всё-таки воспользуюсь им), в состоянии, промежуточном между бытием и небытием, в чём-то, о чём нельзя сказать, что оно есть, но и нельзя сказать, что его нет. В мире, который одновременно есть и не есть, в мире не подлинном, не вполне реальном, иногда вполне призрачном. В том же втором, бальбекском, романе, моём, пожалуй, любимом, в эпизоде с тремя деревьями, напоминающими о трёх колокольнях из первого романа, Пруст (хорошо, хорошо... рассказчик, Марсель) вновь чувствует, что эти деревья «скрывают нечто неподвластное уму, как предметы, слишком далёкие, до которых невозможно дотянуться руками, и только самыми кончиками пальцев мы на миг задеваем их поверхность, а схватить их нам не удаётся». Всё же он пытается поймать это «нечто»; он узнает ту «радость» (в переводе Баевской; у Пруста просто – *plaisir*, почему Любимов и переводит – «наслаждение», но «радость» мне больше здесь нравится), которую всегда испытывал, когда это «нечто» приоткрывалось ему, то есть испытывал редко, «но мне всегда казалось (пишет он по-прежнему в переводе Баевской), что всё, что происходило до и после, почти не имеет значения и настоящая жизнь начнётся, только когда я сумею ухватить суть этой радости», или (в переводе Любимова) «если я ухвачусь за эту единственную реальность».

Вот именно: настоящая жизнь, истинная жизнь, подлинная жизнь, *une vraie vie*. Но настоящая жизнь не начинается никогда. Точнее: настоящая жизнь всегда – начинается, но и – только начинается. Настоящая жизнь всегда – может начаться (одного дерева достаточно, даже трёх деревьев не нужно), но и – только начаться. Она не может продолжиться. Длительная, длинная жизнь, жизнь во времени и становлении всегда есть жизнь ненастоящая, не-совсем-настоящая, не-очень-

истинная и скорее-не-подлинная. Она лишь приближается – на мгновение – к истинному, настоящему, подлинному, чтобы тут же опять от него отдалиться; коляска, в которой Марсель едет с бабушкой и маркизой де Вильпаризи, оставляет деревья позади, унося рассказчика (в переводе Любимова) «прочь от того, что в моих глазах было единственно подлинным (*ce que je croyais seul vrai*), что могло бы меня действительно осчастливить, она (то есть коляска – А. М.) напоминала мне мою жизнь». У Баевской: «она была похожа на мою жизнь», в оригинале: *elle ressemblait à ma vie*. Да, коляска (*la voiture*; у Баевской становящаяся, кстати, каретой) похожа на жизнь в том смысле, что и жизнь всё время уходит прочь, уносит в сторону, увлекает и отвлекает от того таинственного, никак не названного, единственно подлинного, что могло бы нас сделать счастливыми, что мы не в силах удержать и в чём сами не в состоянии удержаться; что, однако, даже когда мы уезжаем, уходим, по-прежнему обращается к нам с призывом, но уже прощальным, печальным, знающим о своей безответности.

«Деревья удалялись и отчаянно махали руками, как бы говоря: “Того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услышать уже никогда”...»

здесь, пожалуй, я обрываю цитату, чтобы перейти к совсем другим мыслям.

Потому что... потому что всё это, может быть, лишь наша иллюзия, проекция нашего безотчётного стремления куда-то, к чему-то, к какому-то ещё смутному, смутно влекущему нас будущему. Может быть, этот призыв вещей есть «всего лишь» призыв жизни, сулящей нам, покуда мы молоды, разнообразные дивные дивы? Мы молоды; мы ещё верим её посулам; ещё не верим, не готовы верить, отказываемся поверить, что она нас обманет, облапошит, обмишурит, обведёт вокруг пальца. В «осмнадцать лет» мы все Ленские; все горазды «подозревать чудеса». Это наши силы играют в нас, а нам кажется, что кто-то, или на худой конец что-то, манит нас из романтических ветвей. Эрос очень обычный лишь прикидывается Эросом познания, припоминания. Эти ветви, эти деревья – они, может быть, вообще ничего от нас не хотят? Никакого задания нам не дают? *Auftrag* и *Erwartung*, поручение и ожидание, представлявшиеся Рильке противоположностями, враждебными друг другу силами, борющимися за его душу, – не совпадают ли они, на самом деле, друг с другом, и если не совпадают, то, по крайней мере, не перекликаются, не взаимодействуют, не усиливают ли друг друга? Мы хотим жить, мы верим и тянемся к будущему, мир для нас полн чудес и тайн, волшебных возможностей, прежде всего эротических, в разных смыслах слова, вот нам и кажется, что он чего-то от нас хочет, взывает к нам и зовёт нас к себе, как романтическая красавица, волшебница, нимфа и чародейка, может быть, ведьма, промелькнувшая среди заколдованных стволов, в туманном лесу (как в волшебном стихотворении Эйхендорфа), а мы... мы готовы, мы не сплосаем, не подведём, да мы хоть на край света отправимся, чтобы ответить на этот зов, чтобы встретиться с *Ней*, как Владимир Соловьёв отправился же в Египет ради встречи с Софией Премудростью (она же Вечная Женственность, она же Прекрасная Дама), после того, как Она явилась ему, курам и читателям на смех, в Британском музее, предложив поплыть на пароходе в Каир, а оттуда уж пешком пойти к пирамидам, где потрясённые его высочайшим цилиндром и длиннейшим пальто бедуины чуть его не прикончили, приняв

за шайтана. Но всё же Она явилась, «как первое сиянье всемирного и творческого дня»; Она не обманула его, как обманет впоследствии Блока (русского, не прустовского), пустившись превращаться из Прекрасной дамы, минуя различные стадии, в проститутку Катьку, убитую апостолом революции Петрухой.

«Всё видел я, и всё одно лишь было – один лишь образ женской красоты...» Мистика в русском символизме (и у его предшественников, провозвестников и пророков) неотделима, разумеется, от эротики (о чём нам с вами рассказали ещё в детском саду, так что я постараюсь поскорее миновать этот риф, уподобившись Одиссею). И у меня нет никаких ответов; одни лишь вопросы. «Теряясь в разрешении сих вопросов, решаю их обойти безо всякого разрешения», как говаривал Ф. М. Достоевский, ироничнейший из русских писателей. Вслед за Достоевским как не вспомнить другого славянофила?

«Природа [как не вспомнить тут?] – сфинкс, и тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней».

Может – статься, Фёдор Иванович, но может ведь и – не статься. Может быть, мы обманываем себя, может быть, природа нас обманывает, может быть, сфинкс, может быть, ещё какие-нибудь мифологические существа, сущности и сирены сговорились нас обдурить, погубить, бросить на скалы, отдать Сцилле с Харибдою. А мы ведь не хотим больше обманываться; *наобманывались*; достаточно. «Ах, милостивый государь, какое мне дело до «таланта» ваших деревьев и всего прочего...», говорит господин Тэст, кумир *моей* молодости, своему создателю (относившемуся к Прусту, как и вообще к «искусству романа», очень и очень скептически, насколько я смею судить; существует единственный в своём роде отклик Валери на смерть великого романиста, выдержанный в официально восторженных тонах: отклик, однако, из которого ясно следует, что Пруста-то он и не читал). Какое мне дело до «таланта» ваших деревьев, говорит господин Тэст; «я – у себя; я говорю на своём языке; я презираю исключительные вещи». *Je suis chez moi, je parle ma langue...* важнее слов не было для меня в мои двадцать лет. Сразу за ними идут ещё слова важнейшие, поразительные; но о них не сейчас, иначе мы уже не вернёмся ни к Марселю, ни к мадленкам, ни в Комбре, ни в Бальбек. Господин Тэст, мыслящая машина, картезианское *cogito* во плоти, пусть во плоти стареющей и страдающей, человек без иллюзий, человек, которого нельзя обольстить, соблазнить: на что ему магические мгновения, если он сам – магическое мгновение мысли, растянувшееся на целую жизнь?

Его не может быть, но он есть. Его не может быть, но он сопровождает нас тоже – целую жизнь, всю нашу жизнь, живёт с нами всю нашу жизнь, с тех бесконечно давних пор, когда попал нам в руки тогда ещё свежий и новый, с тех пор состарившийся вместе с нами том русских переводов Валери, изданный Вадимом Козовым. По большому счёту мы не меняемся, что бы ни писал по этому поводу Пруст и вслед за ним ещё столько же. В нас живут разные «я», допускаю; но важнейшие наши свойства и склонности, привязанности и пристрастия, да и страсти, в конце концов, – смещаясь, сдвигаясь, иначе окрашиваясь, вступая в новые отношения друг с другом, по-иному и новому располагаясь в нашем «душев-

ном хозяйстве», – остаются по сути своей неизменными. И, конечно, я так же, при всей моей ледяной любви к господину Тэсту (не-ледяной любовью любить его невозможно), чувствую «талант» деревьев и других прекрасных вещей мира, тайну, заключённую в них, потому и описания тех мгновений у Пруста, когда эта тайна (вроде бы и как будто) приоткрывается нам, волнуют меня по-прежнему, как волновали при самом первом чтении, то есть с того же примерно времени, когда (ледяной любовью) я полюбил господина Тэста. Тут любовь была вовсе не ледяная, но любовь всё же трудная, всё же мучительная (боюсь, что Пруста можно любить лишь по-прустовски). Я узнал себя в описании этих мгновений, этих поисков тайны боярышника, загадки трёх колоколен – и нисколько не узнал, до сих пор не узнаю себя во многом, слишком многом другом (только начни перечислять, что в нём всегда меня раздражало, от него отвращало... боюсь, что критики, с первого появления моих текстов в печати, поспешившие записать меня в прустофилы, были правы только отчасти, впрочем, от части важнейшей). Важнейшее в нас, повторюсь, не меняется по сути, хотя и меняет свою окраску, свои оттенки. Красота мира, моря, чёрных веток на блекло светящемся небе с годами никуда, конечно, не делась; я чувствую её так же отчётливо, переживаю не менее остро; но чувствую и переживаю иначе. Душа ещё отзывается, но надежд уже нет. Время призрачных призывов прошло. Что нужно кусту от меня? Кусту от меня ничего больше не нужно. Куст просто есть, как и я просто есмь. Будущего почти не осталось; зато прошлого вдоволь. То, что в юности казалось заданием, теперь говорит о других кустах, других ветках, других поездках к морю, скажем, в 1990-е годы, в Кабур, он же Бальбек; мадленка, сегодня утром купленная во французской булочной в том ненавистном мне городе, где я до сих пор обречён жить, – о мадленке, купленной, торжественно съеденной в Париже, прямо на улице, в задах Монмартра, в октябре 1988 года.

«Впечатления» и «воспоминания», ещё раз. «Впечатление», даже самое раннее, самое первое, включает в себя элемент воспоминания если не в прямом, то в переносном, «платоновском» смысле (в смысле «познания как припоминания»); но и обратное тоже верно: воспоминание, и особенно внезапное воспоминание, пресловутое «непроизвольное воспоминание», которое Пруст (будто бы) положил в основание всего своего романа (сейчас объясню это *будто бы*), – такое внезапное воспоминание, «воскрешение прошлого» есть само по себе «магическое мгновение» в настоящем. А какое мгновение может быть более «магическим», чем мгновение, когда что-то, или кто-то, или даже всё – воскресает? «Чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века...» Не чаю ни одной минуты, как легко догадаться, и «во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым» тоже ни секунды не верую. Но если – не веруя и не чая – всё же попробовать, каким-то самым дальним краешком души, вообразить себе то мгновение, когда все мёртвые вдруг воскреснут, то ясно, что ничего прекраснее этого мгновения быть просто не может, что все «магические мгновения» нашей жизни, хотя и выпадающие из времени, но затем вновь вовлекаемые в его неизбывный поток, а следовательно, остающиеся лишь моментами времени, остающиеся «внутри» времени, – что все эти, сколь угодно драгоценные для нас мгновения суть лишь слабые отблески, тусклые отсветы

того единственного, всепобеждающего мгновения, которое уже не будет мгновением «внутри» времени и даже не будет мгновением, из времени выпадающим, но которое со временем покончит уже навсегда, навеки, на вечность... Всё это фантазии; остаётся искусство.

«Воскрешение мёртвых – наше общее с деревом дело», – писал Иван Елагин в прелестных стихах (кто их знает? кто помнит? а обо всякой чепухе помнят и говорят миллионы). Сейчас неважно, почему – с деревом; важно, что – воскрешение, и важно, что – общее дело, отсылающее, конечно, к фантасту Фёдорову с его «Общим делом» физического воскрешения всех умерших, которых он собирался расселять на других планетах, к тому времени покорённых и освоенных человечеством... У Пруста никакого «общего дела» быть не может; это его сугубо личное, сугубо частное дело воскрешения, спасения в искусстве погибшего прошлого, исчезнувшей жизни, ушедших в иной мир любимых людей. «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это – единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита». И это – очень прустовский финал, разумеется; впрочем, все важнейшие тексты XX века – очень прустовские. В известном смысле они все выплыли, вместе с городком и детством Марселя, из чашки чая с размоченной в нём мадленкой. Пруст и описывает мгновение всепобеждающего счастья, которое охватило его, как только он почувствовал вкус размоченной мадленки – и прошлое в нём воскресло. Всё-таки не удержусь, чтобы не привести эту знаменитую цитату, наверное – самую знаменитую во всём семитомном романе, зачин ко всем семи томам – и ко всему XX веку в придачу.

«И как только я узнал вкус пропитанного липовым чаем кусочка печенья, которым угощала меня тётя (хоть и не понял тогда и только намного позже сумел разобраться, почему это воспоминание наполняло меня таким счастьем), сразу же выходявший на улицу старый серый дом, где была её спальня, театральной декорацией пристроился к флигельку, возведённому для родителей во дворе (это и было то самое выхваченное из темноты пятно – единственное, что я до сих пор помнил); а вместе с домом и город, во всякое время с утра и до вечера и в любую погоду, и Площадь, куда меня выпускали до завтрака, улицы, по которым я шагал с поручениями, дороги, по которым ходили гулять, когда было тепло. И как в той игре, которой забавляют себя японцы, окуная в фарфоровый сосуд с водой комочки бумаги, поначалу бесформенные, которые, едва намочив, расправляются, обретают очертания, окрашиваются, становятся разными, превращаются в цветы, в домики, в объёмных узнаваемых человечков, – так теперь все цветы из нашего сада и из парка г-на Сванна, и белые кувшинки на Вивонне, и добрые люди в деревне, и их скромные жилища, и церковь, и весь Комбре с его окрестностями – всё это обрело форму и плотность, и всё – город и сады – вышло из моей чашки с чаем».

Ограничусь переводом Баевской. «Вышло», *est sorti*: Франковский переводит «всплыло», Любимов – «выплыло»; можно спорить, как лучше. Перевода Баевской ни в ту теперь уже такую далёкую осень 1988 года, когда я стоял на парижской улице и пробовал свою первую мадленку, ни в ту ещё более далё-

кую осень 1978-го, когда я впервые читал всё это, ещё не существовало; я читал это сперва в переводе Любимова (хотя Франковский у нас тоже был дома), потом уже по-французски. Не знал я и того (всё-таки, скажем, немаловажного) обстоятельства, что никакой мадленкой эта мадленка поначалу и не была (моя мадленка была неправильной, его вообще не была мадленкой); человечеству, благодаря черновикам и не опубликованной при жизни автора, очень странной, книге «Против Сент-Бёва», известно теперь, что эта мадленка сперва была кусочками поджаренного хлеба (*quelques tranches de pain grillé*), и приносила этот хлеб какая-то безымянная старая служанка, лишь впоследствии превратившаяся в знаменитую Франсуазу, затем в мать рассказчика, и напоминал этот хлеб, соответственно, гренки или, скорее, сухари (*une biscotte*), которыми угощала его отнюдь не тётя Леония, проводившая целые дни у себя в комнате и в кровати, но его дедушка, по-видимому иначе распорядившийся своим временем. То есть перед нами чистой воды вымысел, чистейшей воды литература. Было ли что-то подобное в жизни самого Пруста, неизвестно; зато очень хорошо известны, многожды разобраны философские, научные, или ненаучные, уж как угодно, источники прустовской теории «непроизвольного воспоминания» (от Бергсона до его критика Поля Солье, *Paul Sollier*, в санатории которого в Бьянкуре – Солье был учеником Шарко, как и Фрейд, – Пруст провёл целых шесть недель в 1905 году, после смерти матери).

Правда биографическая меня волнует в последнюю очередь. Было так или не было, пил ли сам Пруст какой-то чай с размоченным сухариком, или хлебцем, или печеньем, кто ему этот чай подал, вспомнил ли он дядю или тётю, – в сущности, всё равно. Меня волнует лишь правда художественная. Эта правда, конечно, есть, ещё бы; одна из главных *правд* XX века; сильнейший символ доступного атеисту воскресения. А с другой стороны, всегда поражала меня пропасть между патетикой самого акта непроизвольного воспоминания, ослепительного счастья этой минуты воспоминания и воскресения – и относительной банальностью того, что вспомнилось, того, что воскресло. То, что вспомнилось, конечно, и не забывалось. То, что оно не забывалось, доказывается хотя бы чтением «Жана Сантейя», отброшенного юношеского романа Пруста, где всё уже есть – и детство, и городок, и даже вечерний поцелуй матери, и курорт то ли в Нормандии, то ли в Бретани, и светская жизнь, и дело Дрейфуса, и невротическая любовь, и стремление стать писателем, и да, внезапные воспоминания, пробуждаемые каким-нибудь предметом или явлением, розой, запахом мандаринов, старым манто матери, с которой герой только что поссорился, и так далее, и так далее, – но всё рассказывается в третьем лице и в более или менее обычном хронологическом порядке, главное – без попытки представить дело так, будто он всё забыл, кроме одной-единственной сцены, пресловутого поцелуя, а потом вдруг ощутил во рту вкус то ли размоченной мадленки, то ли размоченного сухаря, и – оп! – всё вспомнил. Ладно бы он вспомнил что-нибудь скандально-скабрезное, что полагается вспоминать несчастным невротикам после долгих лет хорошо оплаченного психоанализа, какое-нибудь, по язвительной формуле ненавидевшего фрейдизм Набокова, «утрюмое родительское соитие», или просто что-нибудь из самого раннего детства, вроде толстовского корыта с отрубями, но нет,

даже в первой сцене с поцелуем он уже не младенец, уже, возможно, подросток (с возрастом Марсея вообще происходит большая путаница на протяжении всего романа), уже получает в подарок книги и мама читает ему Жорж Санд, а дальше он только и делает, что растёт и растёт, взрослеет и взрослеет, в Комбре и в Париже, и описание этого Комбре, якобы выплывшего из чашки чая и амнезии рассказчика, ничем (кроме важнейших вещей: ритма, метафор, сравнений, аналогий, сопроводительных мыслей), но всё же, по так называемому «содержанию», ничем особенно не отличается от «обычных» описаний детства и отрочества. У кого же не было смешной больной тётки, сидевшей целый день дома? комических дядей с их разнообразными странностями? прочих родственников, глупых и дурно воспитанных? замечательной бабушки, которой мы обязаны нашими лучшими свойствами и вообще всем самым хорошим, что случилось с нами в нашей злосчастной жизни? няни, говорившей чудесным народным языком? соседей, имевших привычку заходить в гости не вовремя?

В известном смысле любое детство банально, тут уж ничего не поделаешь, даже детство такого небанального человека, как М. П.; потому и роман становится интереснее по мере взросления героя (чтобы потом опять поскукнеть). Скажу больше (прустианки и прустуанцы съедят меня с потрохами за уже сказанное, но я всё же скажу): едва мадленка случилась, воскрешение произошло, как автор делает отступ, набирает побольше воздуха в лёгкие – и пускается рассказывать о Комбре вполне себе в духе и стиле только что закончившегося XIX века, пусть и разукрашенном модернистскими метафорами и многоступенчатыми сравнениями; почти так, как если бы он был не Пруст, а Стендаль, начинающий «Красное и чёрное».

«Городок Верьер, пожалуй, один из самых живописных во всём Франш-Конте. Белые домики с островерхими крышами красной черепицы раскинулись по склону холма, где купы мощных каштанов поднимаются из каждой лощинки. Ду бежит в нескольких сотнях шагов ниже городских укреплений; их когда-то выстроили испанцы, но теперь от них остались одни развалины».

Вот вам Стендаль, а вот вам и Пруст:

«Комбре издали, за десять лье, возникал в окне поезда, когда мы подъезжали к нему на последней неделе перед Пасхой, и поначалу весь целиком сводился к церкви, которая его представляла, вещала о нём и от его имени далям, а когда подъедешь поближе, делалось видно, как к подолу её уходящей ввысь тёмной накидки, в чистом поле, сгрудившись на ветру, будто овцы вокруг пастушки, жмутся ворсистые серые спины домов, тут и там окружённые остатками идеально круглой средневековой крепостной стены, точь-в-точь городок со старинной картинки».

Да, конечно, различия очевидны (как между ампиром и югендстилем; а Пруст, в сущности, и есть югендстиль); и да, конечно же, Стендаль описывает «объективную реальность» (вот так, мол, и так), а Пруст сразу переходит к «субъективным ощущениям» (вот так казалось, так виделось, такие сравнения напрашивались); но и сходств нельзя не заметить. Не могу представить себе, чтобы эта фраза Стендаля не звучала у Пруста в глубине головы, когда он сочинял свою

собственную, подобно тому, как у нас с вами звучит, разумеется, лермонтовская: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России»; думаю также, что таких зачинов — с названия города — в литературе вообще немало.

И я должен верить, что всё это выплыло из чашки чая с размоченной в нём мадленкой? Кажется, и сам рассказчик в это не верит, точнее, забывает об этом. Своё детство он вовсе не забывал, а вот свою игру в забвение и выплывание прошлого из чашки чая забывает на самом деле, иначе как объяснить и этот традиционный зачин, и все подробности в описании разных, проведённых в Комбре каникул, и естественность перехода к дальнейшим частям, про которые ведь рассказчик не утверждает, что он их забыл и вдруг вспомнил — ни игры на Елисейских полях с Жильбертой, ни Бальбек со всеми его «девушками в цвету» ни из какого чая не выплывали, не так ли? — выплыло только Комбре, хотя и отделённое «Любовью Сванна» от всего последующего, но и связанное с ним сотней нитей, — как, наконец, объяснить патетические и (вот сейчас прустиианки уж точно меня растерзают, как менады Орфея) до некоторой степени тривиальные фразы типа: «Как я любил нашу церковь, как ясно вижу её ещё и теперь!» (в оригинале ещё патетичнее: «*Que je l'aimais, que je la revois bien, notre Église!*»)? Не видел, не видел, потом чаю с мадленкой выпил и начал видеть, да ещё и так ясно? Забыл о своей любви, а тут вдруг вновь полюбил? Ещё раз: дело не в том, что сам автор никогда, конечно же, не забывал своего Илье, в романе превратившегося в Комбре, а дело в том и только в том, можем ли мы поверить, что это случилось с его героем-рассказчиком? Я не могу. Никогда не мог поверить и не верю по-прежнему. Вопрос в том, нужно ли верить. И это вопрос важнейший, вообще и в принципе, применительно не к одному только Прусту; вопрос о правде и правдоподобию; ключевой, стержневой (выбирайте какой хотите эпитет) вопрос литературы. Нуждается ли правда в правдоподобию? Что такое правда, если она не совпадает с правдоподобием? О какой-то какой правде мы говорим? Имеет ли смысл вообще говорить о какой-то? «Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения...» А если подойти с этими вопросами к самому Ф. М. Д.? Ох, нет; лучше даже не подходить.

Несообразностей и *неправдоподобий* у Пруста полно; они много раз отмечены и разобраны. Маргерит Юрсенар, утверждавшая, что перечитывала весь роман целиком семь или восемь раз, всё-таки говорит в поздних интервью журналисту Matthieu Galeу, собранных в отдельную книжку — «С открытыми глазами», «*Les yeux ouverts*» — книжку, которую я-то уж точно раз восемь или одиннадцать перечитывал целиком, — что при всём её восхищении Прустом, её смущает (или ей мешает, *me gêne*) его склонность ко лжи (*une tendance au mensonge*), странно сочетающаяся с его же восхитительным реализмом. Мне трудно, говорит она далее, принять этих девушек в цвету, столь мало похожих на девушек (*les jeunes filles en fleur si peu jeunes filles*); абсурдное неправдоподобие сцен (которые он очевидно считал ключевыми и стержневыми), в которых герой превращается в соглядатая, в «вуайера»: Марсель перед домом Вентейлей, Марсель, следящий за Шарлюсом; разговоры, в которых он вкладывает в уста собеседника, осуждая их, свои собственные взгляды, и так далее. Но, говорит Юрсенар, великого пи-

сателя надо принимать целиком. «Поиски» таковы, каковы они есть, и невозможно вообразить их себе другими. С последним утверждением не поспоришь. Все же эти несообразности Пруста — его, действительно, склонность ко лжи — в основе которой лежит, очевидно, главная ложь: попытка скрыть от мира свою гомосексуальность, передать её другим персонажам, обитателям «Содома и Гоморры», тем самым отвести подозрения от рассказчика, превратить мальчиков в девочек, Альбера в Альбертину, заодно и Альфреда в неё же, — это так хорошо ему удалось, что вот уже сто лет историки литературы только тем и занимаются, что выводят его на чистую воду, — проистекающая отсюда же фантастичность его любовных сцен, надуманность отношений, — величественная вычурность его непрерывных метафор, сравнений и аналогий, его дремотные длинноты, его «обсессивно-компульсивные», по пятьдесят раз, повторения одного и того же, его стариковская сентенциозность и подростковое резонёрство (*puer senilis*, как очень правильно называет его Ролан Барт), — его навязчивое стремление разложить по полочкам, расписать по параграфам то, на что достаточно было бы только намекнуть, что действовало бы несравнимо сильнее, если бы автор ограничился намёком («в какую бурю ощущений теперь он сердцем погружён»: и всё, Татьяна уходит, муж приближается, остальное читатель додумает сам; но Пруст боится дать читателю *додумать* что бы то ни было: а вдруг *не* додумает? нет уж, получай, читатель, пункт первый, подпункт второй, оттенок ощущения десятый, пятнадцатый; а ежели все оттенки перечислены, то *бури* уже нет, есть — оттенки ощущений), — всё это, при каждом новом чтении, порождает во мне меня самого изумляющую смесь скуки, отвращения и восторга; не знаю другого автора, который был бы мне одновременно так чужд и так близок.

Пруста, кажется мне, надо читать *à rebours*, против шерсти. Не это ли, иногда я спрашиваю себя, вынуждает вновь и вновь его перечитывать? Я не способен ни вполне его полюбить, ни разлюбить окончательно; ни отстать от него, ни полностью с ним примириться. Я бунтую, я злюсь, я всё вдруг прощаю. Опять увлекаюсь, снова отдаюсь его чарам. Иногда смеюсь в голос, путая случайных свидетелей (Пруст бывает ослепительно смешон: единственное в своём роде сочетание морализирующего начётничества и систематизирующего занудства с острым чувством гротеска и юмора). Это значит, что он живой, что разговор не окончен, любое суждение сейчас же подвергается пересмотру. Похоже, это происходит не только со мной. Не отсюда ли, я спрашиваю себя, это умопомрачительное количество текстов о Прусте на всех языках планеты: словно планетарная фабрика по производству текстов о Прусте на всех мыслимых и немыслимых языках — фабрика, филиалы и цеха которой разбросаны по миру от Сванвика до Германтауна, — словно она уже столетие не прерывает работы, сияя огнями, дымя трубами, грохоча железом и скрежеща шестерёнками, выпуская в свет и в продажу то монографию, то биографию, то сборник статей, то найденные у кого-то на чердаке ранние наброски ранних рассказов, то отрывки в чьём-то подвале почтовые карточки, полученные от очередного маркиза, посланные очередной герцогине, то собрание фотографий, то новый альбом с репродукциями всех упомянутых у Пруста картин, рисунков, статуй и витражей... Увы, эта фабрика производит и совсем другую продукцию; интернаци-

ональная, глобализированная коммерциализация Пруста (нарочно использую эти слоновьи словищи) принимает формы иногда уже совершенно гротескные; недавно во Франкфурте, в музейном магазинчике при галерее *Städel* видел я высокохудожественные носки с портретом Пруста (вернее, с жалкой попыткой воспроизвести на паголенках двух вполне обыкновенных носков известный портрет работы Жак-Эмиля Бланша, тот, где наш автор явлен анфас, со стоячим воротничком, усиками, повторяющими рисунок бровей, и кровавыми губками бантиком) – продукт, безусловно достойный занять почётное место рядом с «гениальной скаковой лошастью» Музиля в другом музее – музее пошлости человеческой; до сих пор жалею, что не купил их, эти носки; чувство юмора и гротеска подвело меня в ту минуту. Один очень умный человек, с которым гуляли мы по Комбре-Илье (о чём – через пару абзацев), сказал мне, что современный рынок (а ведь рынок в огромной степени и создаёт репутации) устроен таким образом, что ему выгоднее вкладывать очень много денег в продвижение и, *horribile dictu*, раскручивание немногих уже очень известных людей, неважно, живых или умерших, чем пусть немного денег, но в продвижение многих; носков с ликом Андре Жида или с профилем Поля Валери я, во всяком случае, точно нигде не встречал; надеюсь, что их и не существует.

Вопреки всем усилиям рынка по превращению его в ширпотреб, Пруст, скажу снова, один из самых живых писателей своей эпохи; отношения с ним не выяснены; разговор не окончен. Вот и с пресловутыми мадленками я до сих пор не выяснил своих отношений, отчего вынужден вновь и вновь покупать их во французской булочной, что, конечно, весьма плохо отражается на моей и так уже не антиноевой, прямо скажем, фигуре. Что прошлое спит в предметах, во вкусах и запахах – и вдруг пробуждается, и когда пробуждается, дарует нам ни с чем не сравнимое счастье, мгновенную победу над смертью и временем, – я знаю, испытывал в жизни не один раз. Что целое детство, целый городок детства со всеми садами и обитателями вдруг взял и выплыл из чашки чая с размоченным в нём печеньем, – нет, в это я не верю по-прежнему. Скорее оттуда выплыл весь роман – и ещё множество романов впридачу. Не сказать ли, что вся литература XX века выплыла из этой чашки чая? Это было бы преувеличением. Во всяком случае оттуда выплыл один из трёх китов, на которых стоит XX век, по незабвенной формуле Ахматовой. Иногда мне кажется (но я спешу перекреститься), что эти три кита – и Пруст, и Джойс, и Кафка – суть три диагноза, или три качества, доведённые до своего логического предела, до абсурда и патологии, что делает до некоторой степени излишними их самих. Это не так, но трудно оторваться от этой мысли. Мы видим прустовское начало, джойсовское начало, кафкианское начало у самых разных авторов, у которых они как бы смягчаются и до некоторой степени нейтрализуются, вступая во взаимодействие с другими началами. Пруст, Джойс и Кафка дали им названия, сделали их осязаемыми, ощутимыми, вычленимыми из текстов самых разных, друг с другом не связанных, включая тексты предшественников (о чём, применительно к Кафке, есть чудное эссе у Борхеса; великий писатель создаёт не только своих потомков, но и своих предков, своих предтеч, которых до и без него мы бы и не подумали объединить в одном предложении, как теперь сводим

удивлённо глазеющих друг на друга Шахерезаду, Толстого, Монтеня, Бальзака, госпожу де Севинье и Мурасаки Сикибу в странный клуб провозвестников Пруста).

Конечно, я думал обо всём этом, плутая по пустынным улочкам Илье – переименованного к столетию Пруста, в 1971 году, в Илье-Комбре, *Illiers-Combray* (о, литературная Франция, обожаю тебя!), – немногим и тихим улочкам, в которых, тем не менее, мне всякий раз удавалось запутаться. Я два раза бывал там, поздней осенью 2018-го и в августе 2023-го, вот только что; всегда ухитрялся пойти в какую-то не ту сторону, не в сторону Германтов и не в сторону Сванна, а вообще неизвестно в какую. Оба раза городок поражал меня своей пустынностью, своим безлюдием, своей почти-призрачностью. Он точно есть – и в реальности, и на карте – этот Илье-Комбре; прустофилы и прустофилки съезжаются в него отовсюду; но их там не было – или почти не было – оба раза: ни прустофилок, ни прустофилов, ни жителей, ни почтальонов, ни пекарей, ни аптекарей. В ноябре оно и понятно. Стоял звенящий холод; все туристические сезоны закончились навсегда, до скончания времён; все жалюзи были опущены; все решётки перед всеми лавками опущены тоже; все ставни закрыты; даже парковочные автоматы отключены за ненадобностью. Но уж в августе-то, казалось мне, должны обнаружиться и туристы, и жители. Но и в августе ни жителей, ни туристов не обнаружилось. Впрочем, в августе музей, «дом тётки Леонии» оказался закрыт на ремонт; немногие девоционалии вынесены в случайное помещение. И в ноябре, и в августе во всей своей грозной непререкаемости встала проблема обеда. Проблема обеда, вернее той трапезы, которую французы зовут завтраком, *déjeuner*, отличая его от утреннего маленького завтрака, *petit déjeuner*, – впрочем, Левин и Стива Облонский тоже едут именно завтракать в середине морозного московского дня, причём едят устрицы (фленбургские; остендских, мы помним, не было), суп прентаньер, тюрбо под густым соусом, ростбиф и каплунов, – проблема, ещё раз, обеда, когда приезжаешь в какой-нибудь французский провинциальный городок, например Комбре-Илье, напрямиком из Парижа на машине со знакомыми, как в ноябре, или сперва на поезде до Шартра, потом от Шартра тоже на машине с друзьями, как в августе, – проблема эта всякий раз встает в своей грозной непререкаемости перед тобою, потому что пообедать надо до двух, иначе уйдёшь не солоно хлебавши, до вечера проходишь голодным. А выезжаешь из Парижа не очень рано, рано-то вставать неохота, и когда добираться до места, уже знаешь, что проблему обеда надо решать не откладывая, иначе её вообще не решить, а французский обед, то бишь *déjeuner*, – о вечернем обеде, сиречь *dîner*, уж я и не говорю, – длится долго (даже обед слуг, как показано в «Германтах», длится часа два и являет собою род священнодействия, под строгим председательством незабвенной Франсуазы, и все эти два часа хозяева побеспокоить своих слуг не решаются), не обходится без закуски, без десерта и без эспрессо, а как выйдешь из ресторана, уже, смотришь, пол-третьего, вот и остаётся у тебя на осмотр литературных достопримечательностей всего пара часов, тем более если рано темнеет, и промозглый холод забирается тебе под пальто, и дождь уже начинается, вот-вот начнётся, вот уже начался, а зонтик ты забыл в машине, а обратная дорога неблизкая.

В ноябре, по крайней мере, был открыт главный и дорогой ресторан на площади перед собором; каплунов нам не подали там, а вот пуляркой в винном соусе уж мы насладились. Зато в августе почти у входа в церковь обнаружился сидящий на лавочке бронзовый мальчик Марсель, посаженный туда между моим первым и вторым приездом, словно бы в утешение за невозможность снова попасть в дом «тёти Леонии», с большим, тоже бронзовым, бантом, странно большими руками, с пальцами маскарадного вампирчика и странно же большими ногами, не достающими до земли, повернутыми внутрь, друг к другу, что, видимо, должно передавать его робость, неуверенность, неприкаянность, неуместность как в этом, так и в любом другом месте мира. Прекрасней комбрейской церкви ничего нет, это правда (другое дело, что церковь описанная Прустом, не совпадает с той, в которую можно зайти до или после *déjeuner* в ресторане; Комбре всё-таки не совпадает с Илье; реальность, что бы мы под этим словом ни понимали, никогда не совпадает с вымыслом, с воображением; уж кто-кто, а Пруст только и делал, что заглядывал в эту пропасть между «именем» и «местом», образом и предметом, представлением о человеке и самим человеком, мечтой о герцогине Германтской и самой герцогиней Германтской; увы, эта пропасть периодически превращается в пропасть скуки, в которую проваливается читатель: читатель урок уже вызубрил, автор же всё твердит и твердит своё). Там прекрасен прежде всего деревянный потолок, весь в мелких узорах, нигде мною больше не виданных, древних и детских; прекрасны перекладыны под потолком, тоже узорчатые; прекрасен глубочайше синий, королевский фон росписей в переднем приделе; прекрасно, наконец, ощущение исконной, не загубленной современностью провинциальной подлинности, неотделимое, впрочем, от ощущения неотделанности, неухоженности, пожалуй, даже заброшенности. Конечно, эти росписи с их глубочайше синим фоном требуют реставрации; там целые куски краски отваливаются; уже отвалились. Когда их реставрируют, они, боюсь, потеряют половину своей прелести (то есть гораздо больше, чем несколько кусков краски).

Французская провинция вообще провинциальнейшая из провинций (наверное, потому что французская столица – столичнейшая из столиц). Если тётя Леония, то есть, разумеется, её прототип – Элизабет Амио, сестра отца Пруста, целый день наблюдала в окно, не вставая с кровати, у окна и стоявшей – она и теперь там стоит, – за жизнью комбрейских обывателей, окно же выходило на «однообразную серую» улицу, теперь называемую улицей доктора Пруста, в честь её брата, отнюдь не племянника, – то не совсем понятно, как она могла видеть всё то, что там видела. Может быть, кто-то и шёл по этой улице сто – сколько? – сто, скажем, тридцать лет тому назад, теперь, во всяком случае, никого уже нет. Если кто-то и шёл, то с тех пор все прошли, все ушли. Шли, шли и ушли. А я долго смотрел на эту очень серую, очень печальную улицу; в ноябре, когда музей был открыт, – из того же окна той же комнаты; в августе – просто остановившись у входа в недоступный из-за пресловутого ремонта дом. Никто ни разу по ней не прошёл, ни в августе, ни в ноябре; ни разу, никто. Куда отраднее смотреть в другую сторону, из другого окна, окна комнаты Марселя, выходящего в маленький садик, он же и дворик, нисколько не похожий на тот, что описан

у Пруста – тот был скорее в Отее, тогда под Парижем, теперь в самом Париже, откуда автор перенёс его в Комбре по своей писательской воле и надобности, – садик, он же и дворик, где зелёная скамейка, похожая на скамейки русские – не такая, конечно, большая, как те, что стояли раньше, может быть, и теперь стоят на московских бульварах, но той же волнообразной формы, из таких же реек, с чугунными ножками, правда, без подлокотников, – таких скамеек не встретишь в Германии: там все скамейки жёсткие и прямые, как прусский милитаризм, из сплошных досок, как философия Гегеля, – где скамейка эта, и только она одна, стоит перед сразу же, с первого взгляда, пленившим сердце моё круглым, тоже зелёным, но железным столиком на смешных ногах-раскоряках, за которым так легко представить себе Сванна (или Свана с одним «н», как угодно), пришедшего в гости к родителям героя и автора, так что мама вынуждена сперва отказать ему, герою и автору, в знаменитом ежевечернем поцелуе, чтобы потом подняться к нему по тёмной загнutoй лестнице, по которой и мы теперь поднимаемся. Конечно, Сванн, если бы он и вправду существовал, и вправду приходил в гости, сидел бы не на этой скамейке, а на одном из садовых стульев, которые хорошо видны на старых снимках. В «Жане Сантейе» в гости приходит не Сванн, а какой-то доктор, и действие происходит не в Илье и не в Комбре, тогда ещё не придуманном, а где-то под Парижем, по-видимому, всё в том же Отее, и мальчик, тогда ещё Жан, посылает за мамой не Франсуазу, а некоего слугу Августина, который, впрочем, идти за ней отказывается, так что Жану приходится звать её из окна... Из вот этого окна, из которого и мы теперь смотрим? Да нет же, из окна в Отее? Из вот этого окна, перенесённого в Отей, подобно тому как сад будет перенесён из Отея сюда? Сравнить вымысел с вымыслом всегда увлекательно; ещё увлекательнее сравнивать разные варианты вымысла с тем, что мы называем реальностью (и что бы мы, в самом деле, ни называли так), так что она и сама (вот этот стол, вот эта скамейка) становится вариантом вымысла, одним из его вариантов, волшебной картинкой из волшебного фонаря, того самого волшебного фонаря, которым героя тешили в детстве, показывая ему прямо на стенах его комнаты историю Голо и Женевьевы Брабантской (я бы написал – Геновевы, но меня не спросили, и Людвиг Тика в наше прекрасное время вряд ли ещё кто-то читает): едва ли не первое «вторжение тайны и красоты» (*du mystère et de la beauté*) в его жизнь.

Магический фонарь сохранился. Он стоит под стеклом в музее, фарфоровый внизу и медный вверху, с двумя трубками – одной, почему-то торчащей вверх, другой, очевидно – с объективом, смотрящей в сторону, – не похожий, пожалуй, ни на какой другой известный мне аппарат; не похожий, хотя и там была трубка объектива, на те приборы, с чьей помощью в нашем советском детстве нам показывали так называвшиеся тогда диафильмы. Картинки из диафильма про Ивана-царевича и Василису (не Софию) Премудрую, не менее, но, пожалуй, и не более примитивные, чем картинки про Голо и (всё-таки) Геновеву, в «доме тёти Леонии» висящие на стене рядом с самим магическим фонарём, помню я до сих пор; ещё лучше помню подписи к ним, сходу могу процитировать: «а у младшего сына, Ивана-царевича, стрела улетела в болото. Подняла стрелу лягушка-квакушка...»; или, самое любимое: не пугайтесь (говорит Иван-царе-

вич), «это моя лягушонка в коробчонке приехала». Приехала и приехала, помню и помню. Никаких особенно умильных чувств всё это не вызывает у меня. Сегодня не вызывает, завтра, смотришь, и вызовет. Что меня умилило, так это, в первый приезд, на торцовой стене окраинного, низенького, но островерхого домика, – огромное, во всю стену, граффити, на котором, в стиле примитива и комикса, но довольно умело изображен Комбре-Илье, посреди которого граффити и находится – как пьеса об убийстве короля, разыгранная в «Гамлете», посреди самого «Гамлета», – Илье-Комбре с его церковью, шпилем и колокольной, крышами, облаками, голубым акриловым небом – вставленном в настоящее небо, в тот миг, когда я снизу смотрел на него, густо-синее, иронически-чистое, только-только начинавшее бледнеть по краям, – с солнечными часами в верхнем треугольнике торца, с остро-лучистым солнцем на этих часах, главное – с портретом, вроде бы, Пруста, размером с церковь, висящего над домами и крышами, посреди, кажется, облаков, – Пруста в каком-то странноватом сюртуке с тремя золотыми пуговицами на обшлага рукава, при этом без галстука, банта или бабочки, каким он уж точно бы ни на этих, ни на каких других улицах не показался, а показался бы, так его бы и не узнали, так он не похож здесь на известные его фотографии. Он здесь похож на какого-то усатого ухаря, этот настенный Пруст; на торговца чурчелой с Тишинки; никто, конечно, не станет оспаривать право местного Пиросмани, локального Анри Руссо видеть его так, а не эдак, по-своему, не по-нашему. Мы всё-таки долго смеялись, стоя перед сим шедевром фресковой живописи, потом долго искали дорогу к парку, который считается парком Сванна, на самом же деле был создан мужем «тёти Леонии», то есть Элизабет Амио, Жюлем Амио, в романе называемом господин Октав, – к началу действия его уже нет в живых, – человеком, разбогатевшим в Алжире, потому оставившим в доме коллекцию ориентальной экзотики, а в парке – арабскую башенку с куполом, похожую на голубятню – голубей я не видел, – другие башенки, беседки и гроты. Там много воды в этом парке, в ноябре струившейся и бежавшей, отражая холодное небо, среди осенней желтизны, красноты, в августе – в кувшинках и в тине, такой густой и ядовито-зелёной, особенно в пруду возле башенки, что уж лягушке-квакушке, Василисе Премудрой, было бы там раздолье. Но и лягушки-квакушки что-то я не приметил.

Зато в августе, пока не начался дождь, мы обошли и снова обошли весь парк целиком, затем мимо грота, чуть в гору, вышли к его границе, той живой изгороди, за которой, как считается, стоя с внешней стороны, Марсель увидел Жильберту, стоящую с внутренней, главное – или не главное? – увидел пресловутый боярышник, описанный им так подробно, с такой барочной пышностью и югендстильными завитками («изгородь была словно череда часовен, почти не различимых под охапками цветов, громоздившихся на алтарях; под ними солнце накладывало на землю световую решётку, словно проходя сквозь оконный переплёт; запах распространялся от них такой елейный, такой неудержимый, как будто я стоял перед алтарём Богородицы, и каждый цветок, принарядившись, рассеянно протягивал свой искрящийся букет тычинок, тонких и сияющих рёбрышек в стиле пламенеющей готики, как те, что в церкви обрамляли кружевом перила амвона или переплёты витража, и распускался белой плотью

цветущей земляники»... и так далее, и так далее). В пору цветения боярышника прустиианки и прустиианцы здесь, говорят, собираются в немалых количествах. Но в августе боярышник не цвёл, прустиианцев по-прежнему не было и в помине, на прустиианок не было и намёка. И дело было не в изгороди, казавшейся просто ровно постриженным рядом высоких, густых и густо-зелёных кустов с мелкими листиками, уходивших вниз вдоль тропинки, по которой Марсель – герой ли, автор ли, уже всё равно, – вслед за отцом и бабушкой как раз поднимался – нам навстречу, – чтобы выйти в поля, открывавшиеся и перед нами тоже, стоило нам оторваться от изгороди, повернуться лицом к пространству, ветру и облакам. Поле перед нами было распаханно; на бурых бороздках отчётливо виделись светлые соломины сухого жнивья; очень далеко, на краю окоёма, тянулся тёмный лес; выступ роци с каким-то серым плоским, явно сельскохозяйственным зданием перед ним, которое сразу хотелось убрать и спрятать, был ближе, но тоже, в сущности, далеко, по ту сторону; сверкающие, лёгкие, плотные, размашисто-рваные облака, два или три из них – с дождевым тёмным исподом, но каждое – само по себе, хоть ветер и чувствовался, перемещались по небу так медленно, что как будто стояли. Всё стояло; мысли тоже стояли во мне.

Так бывает: идёшь, идёшь, вдруг приходишь. Выходишь к морю, к большой реке, к безмолвным безымянным полям, оставляешь позади всё то мелкое, дробное, узкое, сквозь что ты шёл, скоро снова будешь идти, будь то парк, городок, текст, чужой и твой собственный. Всё же внезапная остановка иногда, очень редко, тебе бывает дарована. Erde! unsichtbar! Нет (я думал), земле не надо становиться невидимой. Видимость – сама её сущность; её простор и покой – залог и возможность вообще увидеть что бы то ни было. Она ничего от тебя не хочет, и ты не разгадаешь её загадки. Она есть, значит, и ты еси. Ты еси, мы есмы, я есмь. Я (ещё) есмь; я стою здесь, вдруг, на миг, совершенно один, хотя мои спутники тоже стоят и смотрят рядом со мною, но всё же, на магический миг, один, лицом к лицу с чем-то, со мной не соизмеримым, бесконечно меня превышающим, но ко мне благосклонным, меня держащим, для меня, в сущности, единственно-важным, единственно-нужным. А потом всё заканчивается; потом, прячась или уже не прячась от вдруг хлынувшего дождя под деревьями, под навесами случайных крыш, мы возвращаемся к оставленной у собора машине и говорим уже только о Фолкнере (почему-то), о Музиле (почему?), о Жюльене (понятно почему) Граке, об Эрнсте (или так мне помнится) Юнгере.

Продолжение следует ■